

ДЖОН СТЕЙНБЕК

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА

эксклюзивная классика

Райские пастбища
Джон Эрнст Стейнбек

Аннотация
Джон Эрнст Стейнбек. Райские пастбища
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Аннотация

Добродушный юмор и язвительная сатира. Драма и мелодрама. Готика, пародия на готику и даже грустная сказка для взрослых, – кажется, жанровому многообразию историй, собранных под обложкой «Райских пастбищ», просто нет конца.

Эту книгу Стейнбека, впервые опубликованную в 1932 году, можно, в сущности, считать романом только очень и очень условно, – в действительности, перед нами концептуальный сборник рассказов, объединенных местом действия, – тихой фермерской долиной в калифорнийской провинции, – и судьбой переехавшего туда «чужака» Берта Монро, не побоявшегося купить землю, которую все обитатели долины считают «проклятой».

Идут годы. Жизнь в долине идет своим чередом. А местные жители все ждут и ждут, с затаенным жгучим интересом, – сбудется ли проклятие?..

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Джон Эрнст Стейнбек
Райские пастбища

John Steinbeck
THE PASTURES OF HEAVEN

© John Steinbeck, 1932
© Copyright renewed John Steinbeck, 1960
© Перевод. Е. Короткова, наследники, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

I

Кажется, в 1776 году, когда в Альта Калифорния возникла миссия Кармело, человек двадцать новообращенных индейцев однажды ночью внезапно предали веру и наутро покинули свои хижины. Событие это, не столь уж значительное, могло, однако, послужить дурным примером и к тому же задерживало работы по производству необожженного кирпича в местных глиняных карьерах.

После короткого совещания церковных и светских властей был отправлен взвод кавалеристов во главе с испанцем капралом, дабы вернуть в лоно церкви ее заблудших детей. Этот поход по долине Кармело, а затем дальше, в горы, оказался не из легких, да и поплутать пришлось немало, ибо беглецы с каким-то дьявольским искусством запутывали свои следы. На поиски ушло не менее недели, и когда солдаты обнаружили наконец еретиков, мирно спящих среди зарослей папоротника на берегу небольшой реки, они их уже ненавидели всеми фибрами души.

Разгневанные каратели схватили индейцев

и, невзирая на их вопли, привязали к длинной, тонкой цепи. Затем колонна развернулась и направилась обратно в Кармело, дабы предоставить бедным неофитам возможность искупить свою вину, трудясь в глиняных карьерах.

На следующий день, уже под вечер, вдруг выскочил олененок, промчался перед ними и скрылся за горой. Капрал бросился за ним вдогонку, покинув своих подопечных. Тяжеловесная кобыла с трудом карабкалась по крутому склону, острые шипы раздирали в кровь лицо капрала, но он рьяно преследовал вожделенный обед. Через несколько минут он был уже на горном кряже и остановился как вкопанный, пораженный развернувшейся перед его взором картиной — уходящая вдаль зеленая долина, на которой паслось стадо оленей. На ней росли огромные дубы, а опоясывающие долину горы заботливо оберегали ее от ветров и туманов.

Перед лицом этой безмятежной красы дрогнул железный капрал. Тот капрал, который бичом раздирал в клочья коричневые спины рабов; неистовый родоначальник новой расы, в дальнейшем населившей Калифорнию, носитель цивилизации, бородатый и дикий, порывисто спрыгнул с седла и сорвал с головы каску.

— Матерь Божья, — прошептал он. — Да ведь это зеленеют райские пастбища, и сам Господь привел нас сюда.

* * *

Его потомки почти белые. Мы можем только представлять себе, каким благоговением он был охвачен, увидев долину, но название, которое он ей дал, сохранилось и поныне. Она известна как *Las Pasturas del Cielo*[1]. Судьба оберегала этот дивный уголок — ни один испанский гранд не стал его обладателем благодаря своему богатству либо женитьбе. Забытая всеми, окруженная горами, долина долго оставалась ничьей. Капрал, первооткрыватель Райских Пастбищ, всю жизнь собирался вернуться туда. Как многие наделенные необузданной энергией люди, он с тоской мечтал мирно закончить свои дни на берегу речушки, в глинобитном домике и слушать по ночам, как вздыхают за стеной коровы.

Но случилось так, что он заразился оспой от индианки, и когда недуг изуродовал его лицо, друзья заперли его в старом амбаре, дабы предотвратить распространение заразы; там он тихо

---

[1] Примечания: 1
Райские Пастбища (*исп.*).

скончался, ибо оспа, хоть и ужасна на вид, для отправляющегося в лучший мир не самый скверный спутник.

Спустя много лет несколько переселенцев с семьями осели в Райских Пастбищах, поставили изгороди, вырастили там фруктовые деревья. Поскольку законного владельца не было, соседи ссорились без конца. Прошло сто лет, в Райских Пастбищах жило двадцать семей на двадцати небольших фермах. В середине долины расположились лавка и почта, а в полумиле от них, на берегу реки, стояло ветхое строение — школа, стены которой были сплошь испещрены инициалами.

Но вот в конце концов жизнь односельчан потекла спокойно и зажиточно. Земля была плодородна, возделывать ее было легко. В садах созревали самые вкусные фрукты в Калифорнии.

II

Ферма Бэттлов слыла среди обитателей Райских Пастбищ местом проклятым, ребятишки же считали, что там обитают привидения. И хотя земля на ферме была плодородная, сочная, никто ее не домогался; и в доме никто не хотел жить, ибо печалью и угрозой веет от земли и дома, внезапно покинутых теми, кто любил их и здесь трудился. И деревья вокруг брошенного дома были темные, и тени их на земле возбуждали тревогу.

Вот уже пять лет как опустела ферма Бэттлов. Сорняки, забывшие, что такое мотыга, вымахали выше кустов. В саду мощно разрослись фруктовые деревья, ветви их переплелись между собой. Фруктов стало больше, но размером они сделались поменьше. Ежевика проросла сквозь корни яблонь, яблоки, падая, скрывались в ней.

Сам дом, двухэтажное, добротное, прямоугольное здание, был прекрасен и величав, пока не потемнела его белая окраска, но затем произошли события, которые сделали его заброшенным и одиноким. Дикие растения оплели веранды, стены дома стали серыми от ветра и дождей.

Мальчишки, эти лейтенанты, всегда готовые к войне против творений рук человеческих, повыбивали во всех окнах стекла и вытащили из дома все, что только можно было вытащить. Мальчишки ведь считают, что каждый предмет, достаточно легкий, чтобы его уволочь, и не имеющий хозяина, всегда сгодится дома для какой-нибудь игры. Они выпотрошили дом, забросали всяким мусором колодцы, а потом по чистой случайности, тайно покуривая на сеновале настоящий табак, сожгли до основания амбар. Пожар, как водится, свалили на бродяг.

Опустошенная, заросшая сорняками ферма находилась почти в центре долины. По обе стороны от нее расположились самые богатые, процветающие участки в поселке. Она торчала, как бельмо в глазу, рядом со своими нарядными, ухоженными соседками. Жителям поселка это место казалось зловещим, поскольку с ним были связаны ужасная история и совершенно непостижимая тайна.

Два поколения Бэттлов прожили на ферме. Джордж Бэттл пришел сюда, на запад, в 1863 году из штата Нью-Йорк; был он тогда молод — призывного возраста. Мать дала ему денег на покупку фермы и на постройку большого, просторного дома. Когда все было сделано, Джордж

Бэттл послал за матерью. Старуха собралась в путь, наивно полагая, что весь мир это не более чем десять миль во все стороны от ее деревни. Она увидела легендарные города — Нью-Йорк, Рио и Буэнос-Айрес. Едва отплыв от Патагонии, она умерла, и моряки похоронили ее в серых волнах океана, а гробом ей послужил кусок холста и три звена привязанной к ногам якорной цепи, а она-то мечтала лечь в могилу на домашнем кладбище, где полно своих.

Джордж Бэттл стал присматривать себе женщину, в которую не жалко было бы вложить капитал. В Салинасе он обрел мисс Мертл Камерон, старую деву тридцати пяти лет, обладательницу небольшого приданого. Мисс Мертл не вышла замуж оттого, что страдала некоторой склонностью к эпилепсии, болезни, которую в те времена называли падучей и приписывали гневу Божьему. Джордж не стал тревожиться из-за этого. Он понимал, что не все ему по карману. Мертл стала его женой, родила ему сына, а потом, после того как она дважды попыталась поджечь дом, ее заключили в маленькую частную тюрьму в Сан-Хосе, под названием «Санитариум Липмана». Остаток дней своих она прожила там, вышивая на холсте картины из жизни Иисуса Христа.

А затем хозяйство в доме Бэттлов вели многочисленные раздражительные домоправительницы из тех, кто помещает в газетах объявление: «Вдова, 45 лет, ищет место экономки на ферме. Хорошо готовит. Грамотна». Они являлись одна за другой и в течение нескольких дней были милы и печальны, пока не узнавали о существовании Мертл. Тут они, сверкая глазами, принимались громко топать по всему дому, глубоко возмущенные тем, как их ловко облапошили.

Джордж Бэттл к пятидесяти годам превратился в сгорбленного работой старика, сурового и неприветливого. Он не поднимал глаз от земли, которую так терпеливо обрабатывал. Руки — грубые, темные, в трещинах, похожие на медвежьи лапы. А ферма была прекрасна. Деревья в саду, все как одно, аккуратно подстрижены и ухожены. На ровных, сделанных как по линейке грядках зеленели свежие овощи. Джордж любил свой дом, он разбил перед домом цветник. Второй этаж так и остался необитаемым. Эта ферма представляла собою поэму, сложенную человеком, не умеющим говорить. Он терпеливо создавал ландшафт и ждал свою Сильвию. Сильвию он не дождался, но, ожидая ее, продолжал выхаживать свой сад. Все эти годы рядом с отцом рос сын, но Джордж

почти не обращал внимания на мальчика. Для него существовали только фруктовые деревья и зеленые, свежие грядки на огороде. Когда сын его Джон покинул дом — он стал странствующим проповедником, — Джордж не скучал о нем. Он продолжал трудиться, с каждым годом все ниже пригибаясь к земле. Соседи никогда не заговаривали с ним, — все равно он их не слушал. У него были всегда скрючены руки, и постепенно они превратились в некие приспособления — рукоятки всевозможных инструментов словно срастались с его ладонями. Он умер в шестьдесят пять лет — от старости и кашля.

Джон Бэттл вернулся в своей повозке домой и вступил во владение фермой. От матери он унаследовал эпилепсию и фанатичную веру в Бога. Всю свою жизнь Джон посвятил борьбе с нечистой силой. В бытность миссионером он вздымал руки, вызывал бесов и тут же сокрушал их, изгонял, искоренял духов зла. Но и по возвращении домой нечистая сила требовала его внимания. Овощи на грядках рассыпали семена, несколько раз прорастали новые всходы, но победили в конце концов сорняки. Ферма двинулась назад, к первоначальному состоянию, бесы же становились все сильнее и совсем обнаглели.

Чтобы спастись от них, Джон Бэттл вышил на одежде и шляпе маленькие белые крестики и, экипированный таким образом, объявил войну легионам духов тьмы. В сумерки он бродил с большой палкой по ферме. Бросался на кустарник, молотил палкой по кустам, яростно выкрикивая проклятия, пока черти не уберутся. В ночном мраке продирался сквозь заросли кустов к месту сборищ нечистой силы и бесстрашно на них бросался, избивал без жалости. А днем уходил в дом и спал: днем черти прячутся.

Как-то под вечер, на закате, Джон крался к кусту сирени возле дома. Он знал, что этот куст служит тайным пристанищем демонов. Приблизившись настолько, что нечистым уже некуда было бежать, он вскочил и с громким воплем бросился на куст, размахивая палкой. Удары палки разбудили змею, она зашипела спросонья, медленно поднимая свою плоскую головку. Джон выронил палку и затрясся — кровь холодеет, когда слышишь шипение змеи. Он упал на колени и начал молиться. Но вдруг он вскрикнул: «Знаю, что это за змея! Вон отсюда, дьявол!» — и набросился на нее с голыми руками. Трижды ужалила его змея в шею — там не было крестиков, его защиты. Борьба продолжалась недолго — через несколько

минут он умер.

Соседи нашли его, лишь заметив, что канюки стали пикировать с неба, обнаружили они его в таком виде, что навсегда прониклись ужасом перед фермой Бэттлов.

Ферма пустовала десять лет. Ребятишки говорили, что в доме завелись привидения, и бегали туда по вечерам — дети любят страшное. Что-то жуткое было в старом, мрачном доме с глазницами выбитых окон. Краска осыпалась белой шелухой, задралась лохмотьями кровельная дранка. Участок пришел в полное запустение. Он достался в наследство дальней родственнице Джорджа Бэттла, но она ни разу не видела ферму.

В 1921 году хозяевами фермы Бэттлов стали Мастровичи. Их появление было неожиданным и загадочным. Внезапно прибыли однажды утром старик и его старуха, тощие, кожа желтая, блестящая, туго натянутая на выдающихся скулах. Они не говорили по-английски. И объяснялись с жителями долины, только прибегая к помощи сына. Это был крупный мужчина с такими же, как у родителей, выпирающими скулами, с неровно подстриженными и спадающими на лоб черными волосами, с угрюмыми, тусклыми черными глазами. Он говорил по-английски с

акцентом, да и то только тогда, когда ему было что-нибудь нужно.

Встречаясь с младшим Мастровичем в лавке, соседи пытались расспросить его, но не получали ни малейших сведений.

— А мы думали, у вас там духи водятся. Вы их не видели? — спросил его как-то Т. Б. Аллен, хозяин лавки.

— Нет, — ответил молодой Мастрович.

— Ферма будет что надо, только сорняки выполоть. — Мастрович направился к выходу.

— Что-то там не так, — сказал Аллен. — Кто на этой ферме ни поселится, все терпеть не могут разговоров.

Стариков Мастровичей мало кто видел, молодой же человек работал с утра до ночи. Он очистил участок и засадил его, подрезал деревья и опрыскивал их — все без помощников. Когда ни пройдешь, он все работает, работает, лихорадочно, прямо бегом носится, а лицо такое, будто он боится, что время остановится прежде, чем он успеет собрать урожай.

Вся семья жила и спала в кухне большого дома. Остальные комнаты были заперты и пусты, выбитые стекла не вставляли. Чтобы спастись от сквозняков, Мастровичи заклеили кухонные

окна липкой бумагой от мух. Красить дом они не стали, да и вообще ничего с ним не делали, но под напором лихорадочных усилий их сына ферма снова расцвела. Едва начинало светать, он уже выходил из дома, возвращался же в сумерки.

Но вот как-то утром Пэт Хамберт по пути в лавку заметил, что в доме Мастровичей не идет дым из трубы.

— А ферму-то вроде снова бросили, — сказал он Аллену. — Кроме этого парня, мы, правда, никогда там никого не видали, но что-то не так. Я, понимаешь, чувствую — бросили дом.

Три дня соседи по деревне поглядывали на трубу с опаской. Им ужасно не хотелось приступать к расследованиям — занятие предельно идиотское. На четвертый день Пэт Хамберт, Т. Б. Аллен и Джон Уайтсайд направились все-таки к дому. Там было подозрительно тихо. И впрямь подумаешь: жильцы уехали. Джон Уайтсайд постучал в дверь кухни. Поскольку не последовало ни ответа, ни даже шороха, он повернул ручку. Дверь отворилась. На кухне было безупречно чисто, стол накрыт, на нем — блюда, тарелочки с кашей, яичница, хлеб нарезан. На продуктах уже образовался налет плесени. В лучах света, проникавшего в помещение сквозь открытую

дверь, роились мухи.

— Есть тут кто-нибудь? — крикнул Пэт Хамберт, сам понимая, что вопрос звучит глупо.

Они старательно осмотрели весь дом, он был пуст. Мебели в комнатах не было — только на кухне. Ферму бросили, причем насовсем, бросили молниеносно.

Впоследствии, когда шерифу сообщили о случившемся, он тоже ничего не обнаружил. Мастровичи заплатили за ферму наличными и исчезли, не оставив ни малейших следов. Никто не видел, как они уехали, их вообще больше никто не видел. И никаких таких особых преступлений в этом районе тоже не совершалось. Мастровичи исчезли внезапно, вот будто сели однажды утром позавтракать — и вдруг исчезли. В лавке Аллена об этом много толковали, но загадка так и осталась загадкой.

Земля снова заросла сорняками, плющ опутал ветви фруктовых деревьев. Ферма словно приучилась дичать, разруха наступила быстро. За неуплату налогов ее предали монтерейской компании по торговле недвижимым имуществом, а жители Райских Пастбищ, кто про себя, кто вслух, твердили, что ферма Бэттлов — проклятое место. «Земля-то хороша, — говорили они, — но мне ее и

даром не нужно. Уж не знаю, что там такое, только странные дела творятся, даже в дрожь бросает. Так и в нечистую силу поверить недолго».

У жителей Райских Пастбищ перехватило дыхание, когда они узнали, что на ферме Бэттлов снова появились обитатели. Пэт Хамберт, увидев возле фермы машины, принес эту новость в лавку Т. Б. Аллена, а уж тот пустил ее дальше. Фантазия Аллена заработала, он вообразил себе все обстоятельства, связанные с появлением новых владельцев, и доверительно рассказывал о них своим посетителям, неизменно начиная со словечка «говорят».

— Говорят, тот малый, что купил ферму, он из тех, кто ищет призраков, а потом о них пишет.

Это свое «говорят» Т. Б. Аллен использовал как прикрытие, точно так же, как в газетах пишут: «согласно сообщению».

Берт Мэнро еще не стал владельцем нового имения, а в Райских Пастбищах о нем уже ходили легенды. Он чувствовал, что новые соседи за ним подглядывают, но ни разу не застукал их за этим занятием. Это тайное подглядывание у деревенских жителей достигает уровня высокого искусства. Ни одна мелочь от них не укроется. Разглядят одежду, запомнят и разложат все по

полочкам так, что в конце концов точно знают, какого цвета у вас глаза, какой формы нос, и сведут определение вашей внешности и личности к трем-четырем прилагательным, а вы и не заметите, что они за вами наблюдали.

Купив ферму, Берт Мэнро занялся двором и огородом, а в доме тем временем работали плотники. Всю мебель, до последней щепочки, вынесли во двор и сожгли. Все стенки и перегородки заменили новыми. Оклеили их обоями, крышу покрыли шифером. И, наконец, покрасили дом светло-желтой краской.

Берт самолично срезал разросшийся плющ, подстриг деревья перед домом, чтобы сделалось светлее. Три недели спустя дом уже ничем не напоминал жуткое обиталище нечистой силы. С каждым ударом кисти гения он постепенно делался неотличимым от тысячи точно таких же деревенских домов Запада.

Едва снаружи и внутри подсохла краска, начала прибывать мебель: мягкие стулья и диван, эмалированная плита, металлические кровати, покрашенные под дерево и гарантирующие надежный уют. Прибыли и зеркала в резных рамах, и толстые, пушистые ковры, и гравюры современных художников, от которых пошла мода на

«синьку».

Вместе с мебелью на ферму прибыли миссис Мэнро и трое юных Мэнро. Миссис Мэнро, полная женщина, носила пенсне на шнурочке. Миссис Мэнро была хорошей хозяйкой. Мебель двигали с места на место бессчетное количество раз, пока она, наконец, не приходила к выводу, что все в порядке, но уж придя к этому выводу и бросив пристальный, последний взгляд на обретшую пристанище вещь, она кивала, улыбалась, после чего вещь закреплялась за своим местом навсегда, — ее сдвигали только во время уборки. Ее дочь Мэй была хорошенькая девушка с круглыми щечками и красными, как вишня, губками. У нее была соблазнительная фигурка, но очаровательная складочка под подбородком сулила в будущем такую же полноту, как у ее матери. Ее глаза, доброжелательные и доверчивые, особого ума не выдавали, впрочем, глупыми они тоже не выглядели. Чувствовалось, что Мэй постепенно превратится в двойника своей мамы, станет хорошей хозяйкой, матерью здоровых детей, безупречной и верной женой.

В своей новой комнате Мэй засунула в зеркало — между рамой и стеклом — программки танцев. На стенах развесила вставленные в рамочку

фотографии своих друзей из Монтерея, положила на тумбочку возле кровати альбом и запертый на замочек дневник. В дневнике от любопытных глаз таились никому не интересные отчеты о танцульках, вечеринках, о небольших увлечениях Мэй и рецепты приготовления конфет. Она купила и повесила у себя в комнате бледно-розовые тюлевые занавески с воланами из разноцветного кретона. На кровати, на атласном покрывале разбросала пять будуарных подушек, на них пристроила длинноногую французскую куклу с наклеенными светлыми волосами и с тряпичной сигаретой, свисавшей с вялых губ. Мэй казалось, что эта кукла утверждает широту ее взглядов, ее терпимость к тому, чего она в душе не одобряла. Она любила заводить подружек «с прошлым», потому что, разговаривая с ними, освобождалась от сожаления о своей собственной полнейшей непорочности. Ей было девятнадцать; больше всего она думала о замужестве. Отправляясь куда-нибудь с молодыми людьми, она не без волнения говорила им об идеалах. Что такое идеалы, она представляла себе смутно, но они каким-то образом помогали ей регулировать страстность поцелуев на пути с танцплощадки домой.

Джимми Мэнро было семнадцать лет, он толь-

ко что окончил среднюю школу и был полон скептицизма. В обществе родителей он обычно бывал замкнут и угрюм. Он прекрасно понимал, что поделиться с ними своим житейским опытом и взглядами невозможно — они ничего не поймут. Родители принадлежали к поколению, не имеющему ни малейшего понятия о том, что такое грех, равно как и о том, что такое героизм. Родители едва ли возликуют, узнав, что он твердо решил сперва перебеситься, а затем посвятить жизнь науке. Под наукой Джимми подразумевал радио, археологию и аэропланы. Он представлял себе, как в Перу на раскопках он извлекает из земли золотые сосуды. Мечтал замкнуться где-нибудь в подвале и после многих лет страдания и насмешек выйти оттуда с аэропланом новой конструкции, развивающим неслыханную скорость.

Как только Джимми обосновался в своей комнате в новом доме, она тотчас превратилась в свалку всяких механизмов. Был там и детекторный приемник с наушниками, и индуктор с действующим телеграфным ключом, и медный телескоп, и куча прочих изделий, разобранных на части. И у Джимми был свой тайник — дубовый сундучок с тяжелым висячим замком. В нем находились полбанки пистонов с динамитом, старый

револьвер, пачка сигарет «Меларино», три безделушки, известные под названием «Веселые вдовушки», бутылочка персикового бренди, нож в форме кинжала для разрезания бумаги, четыре связки писем от четырех разных девиц, шестнадцать карандашей губной помады, стибренных у партнерш по танцам, коробочка с сувенирами — засушенные цветы, носовые платки и пуговицы, и драгоценнейший из всех — подвязка с черными кружевами. Джимми забыл уже, как он утащил эту подвязку. То, что он помнил, было куда существенней. Он всегда запирал дверь, перед тем как раскрыть сундучок.

В школе Джимми грешил не больше многих своих друзей, некоторые же сильно его обогнали. Но приехав в Райские Пастбища, он обнаружил, что превзошел здесь всех своей порочностью. И он стал считать себя утихомирившимся повесой, но утихомирившимся не настолько, чтобы вновь нечаянно не оступиться. Эта житейская искушенность придавала ему особый шик в глазах местных девушек, делала его жизнь наполненной. Джимми обладал довольно приятной наружностью: стройный, хорошо сложенный, с темными волосами и глазами.

Мэнфред, младший мальчик, — его обычно

называли Мэнни — был серьезный семилетний ребенок с припухшим и отечным из-за аденоидов лицом. Родители знали, что у него аденоиды, иногда даже говорили, что их надо удалить; Мэнни до смерти боялся «удаления», и заметив это, мать всегда грозила ему операцией, если мальчик плохо себя вел. Кончилось это тем, что при первом же упоминании об аденоидах Мэнни от ужаса принимался истерически рыдать. Мистер и миссис Мэнро считали его очень умным, чуть ли не гением. Обычно он играл сам с собой, или часами сидел, уставившись в пространство, «мечтал», как говорила мать. Родители несколько лет не догадывались, что Мэнни ненормальный, что аденоиды затормозили его умственное развитие. Мэнни был хорошим мальчиком, послушным; припугнув, его легко было заставить делать что угодно, но если родители перегибали палку, у него начиналась истерика, он выходил из себя и даже утрачивал чувство самосохранения. Тогда он принимался биться лбом об пол и разбивал его до крови — так сильно, что кровь заливала глаза.

Берт Мэнро приехал в Райские Пастбища передохнуть от борьбы с силой, неизменно его побеждавшей. Он ввязывался во многие предпри-

ятия и везде терпел поражения, не по своей вине — его преследовали неудачи, каждая из которых сама по себе была чистой случайностью. Но когда Берт рассматривал эти случайности вкупе, они ему представлялись кознями коварной, недоброй судьбы, не допускавшей его успеха. Он устал сражаться с безымянным нечто, ставившим преграды на всех его путях. Берту было всего только пятьдесят пять лет, но он устал; он был убежден, что над ним тяготеет проклятие.

Много лет назад он построил гараж при выезде из города. Дело пошло хорошо, в карман потекли денежки. Он уже совсем уверенно почувствовал себя, но тут вдруг магистраль перевели на другую улицу, он прогорел, остался на мели. Через год или чуть позже он продал гараж и открыл бакалейную лавку. Ему снова повезло. Он расплатился с долгами, даже открыл счет в банке. Но тут местные бакалейщики объединились против него, сбили цену и принудили его отказаться от дела. Берт был ранимый человек. Такие штуки приключались с ним по меньшей мере десять раз. Именно тогда, когда успех казался прочным, его настигала беда. Он перестал верить в себя. Когда началась война, он уже почти совсем пал духом. Берт знал, что можно делать деньги на

войне, но, битый столько раз, он просто трусил.

Ему пришлось долго уговаривать себя, прежде чем он решился заключить свой первый контракт с действующей армией на поставку бобов. В первый год предприятие дало пятьдесят тысяч долларов дохода, во второй — двести тысяч. На третий год он закупил урожай бобов с нескольких тысяч акров земли еще до того, как они были засеяны. В договорах он гарантировал выплату десяти центов за каждый фунт бобов. Он рассчитывал продать их по восемнадцать центов фунт. Война окончилась в ноябре, и он продал весь урожай по четыре цента за фунт. Денег у него осталось несколько меньше, чем в тот день, когда он к делу приступал.

На этот раз он окончательно уверовал, что проклят. Неудачи сломили его — часто он подолгу не выходил из дома. Работая в саду, он раздумывал о своей горькой участи. В течение этих смутных лет в нем росла постепенно тоска по земле. Единственную возможность обойти свою проклятую судьбу он видел теперь в том, чтобы стать фермером. Он решил, что где-нибудь на маленькой ферме обретет, наконец, покой.

Ферма Бэттлов была объявлена к продаже компанией недвижимого имущества в Монтерее.

Берт осмотрел ферму, понял, как привести ее в человеческий вид, и купил. Сперва его семья была против переезда, но когда он вычистил двор, провел в дом электричество и телефон, обставил его получше, все они прямо влюбились в свою новую ферму. Впрочем, для миссис Мэнро всякая перемена была к лучшему — лишь бы Берт перестал, наконец, уныло шляться по двору.

Как только Берт купил ферму, он почувствовал себя свободным. Он победил судьбу. Теперь он твердо знал, что сбросил с себя проклятие. За один-единственный месяц у него расправились плечи, просветлело лицо. Он увлеченно занялся новым делом, зачитывался книгами по сельскому хозяйству, нанял батрака и сам работал от зари до зари. Каждый новый день его чем-нибудь удивлял. В каждом проросшем зерне он видел обещание свободы. Он был счастлив, вернулась уверенность в себе, а вместе с нею и желание обрести здесь друзей.

В деревне трудно сразу стать своим. Для этого требуется большой такт. К вселению семьи Мэнро жители Райских Пастбищ отнеслись с некоторой неприязнью. На ферме Бэттлов ведь нечисто. Так считали все, даже те, кто сам же над этим смеялся. А тут вдруг появился человек, который показал

им — проклятия не существует. Более того, он изменил сам дух этих мест — проклятая ферма стала вполне безобидной и даже процветающей. А люди между тем уже привыкли думать, что над фермой Бэттлов тяготеет проклятие, и в глубине души не одобряли перемен.

То, что Берту удалось побороть их враждебность, факт весьма примечательный. Через три месяца он уже был здесь своим — порядочный человек, да и сосед хороший.

Он брал у соседей взаймы инвентарь и сам частенько им одалживал какую-нибудь нужную по хозяйству мелочь. Спустя шесть месяцев его выбрали в попечительский совет школы. Именно это — ощущение счастья, освобождения от злых демонов собственной души и влекло к нему людей. К тому же он был человек добрый, ему нравилось помогать друзьям, и, что еще важнее, он и сам охотно принимал их помощь.

Однажды в лавке, разговорившись с фермерами, Берт изложил свое кредо. Им понравилась его искренность. Случилось это вскоре после того, как Мэнро перебрался в долину. Т. Б. Аллен задал ему свой обычный вопрос:

— Мы всегда считали, что у Бэттлов нечисто. Странные там бывали вещи! Вы привидений еще

не встречали у себя?

Берт рассмеялся.

— Если не раскидывать по дому всякую дрянь, крыс в нем не будет, — сказал он. — А я выбросил из дома затхлость, гниль и тьму — это за них цеплялись призраки.

— Да, вы из фермы конфетку сделали, — согласился Аллен. — Лучшей земли во всех Пастбищах не найти, конечно, если содержать ее в порядке.

Берт нахмурился, как бы переваривая только что возникшую мысль.

— Мне часто не везло, — сказал он. — Много я затевал всяких дел, но все они плохо кончались. Пока я не переехал сюда, мне казалось, что я проклят. — Вдруг он рассмеялся, осененный неожиданной мыслью. — И что ж я делаю? Первонаперво покупаю ферму, о которой говорят, что она тоже проклята. Но тут мне пришло в голову: а что, если мое проклятие схлестнулось с проклятием фермы и они друг друга уничтожили, а? Вот клянусь, я совершенно уверен, что призраков теперь нет, все ушли!

Соседи рассмеялись. Т. Б. Аллен хлопнул рукой по прилавку.

— Неплохо придумано! — воскликнул он. — Но вот вам еще одна идея, похлеще. Что если ваше

проклятие и проклятие, которое лежит на ферме, сошлись и забрались в какую-нибудь крысиную нору, словно две гремучие змеи. А там, глядишь, народится целая туча маленьких проклятий и расползется по нашим Пастбищам. Вот тогда-то мы попляшем!

Тут хохот достиг апогея. Этот разговор почему-то так глубоко запал Аллену в память, что он и много лет спустя вспоминал его до мельчайших подробностей. «Ну, прямо как в театре!» — думал он.

III

Эдвард Уикс жил в маленьком угрюмом доме у дороги. За домом находились большой огород и сад, в котором росли персики. Пока Эдвард занимался персиками, его жена и красавица дочь копались в огороде, где выращивали горох, бобы и раннюю клубнику и продавали их потом в Монтерее.

У Эдварда Уикса было грубое загорелое лицо и маленькие, холодные глазки, почти лишенные ресниц. В долине Райских Пастбищ его считали ловкачом. Он вел дела по-хитрому, и не было для него большей радости, чем выжать из своих персиков на несколько центов больше, чем сосед. Он занимался помаленьку и барышничеством, и в деревне уважали его за оборотистость, но странное дело — он почему-то не богател. Впрочем, ему нравилось делать вид, будто он вкладывает деньги в ценные бумаги. На заседаниях в школе он советовался с соседями о разных денежных вкладах, и никто не сомневался, что у него большие сбережения. В долине его называли Акула Уикс.

— Акула-то? — говорили соседи. — Да у него уж

тысяч двадцать, а то и больше. Этому пальца в рот не клади.

А в действительности он ни разу в жизни не держал в руках более пяти сотен долларов.

Акула очень радовался, что его считают богатым. Это доставляло ему такое удовольствие, что он и сам поверил в свое богатство. Как-то раз вообразив, что накопил уже пятьдесят тысяч, он завел счетную книгу, подсчитывал свои доходы и вел записи капиталовложений. Эти манипуляции доставляли ему ни с чем не сравнимую радость.

В Салинасе образовалась нефтяная компания, которая решила бурить скважину в южной части округа Монтерей. Узнав об этой новости, Акула отправился на ферму Джона Уайтсайда обсудить надежность акций новой компании.

— Я вот тут подумываю насчет этой… Южной нефтяной компании, — сказал он.

— Ну что ж, судя по сообщениям геологов, там действительно что-то есть, — сказал Джон Уайтсайд. — Я давно уже слышу, что в тех местах должна быть нефть. Много лет об этом слышу. — Джон Уайтсайд привык давать консультации по подобным вопросам. — Но, конечно, вкладывать туда слишком много я бы не стал.

Уикс потрогал нижнюю губу и задумался.

— Обмозговывал я это дело, — сказал он. — По-моему, очень стоящее. У меня есть тысяч десять, и лежат они почти что без толку. Надо бы ими заняться всерьез. Только сперва хотелось узнать ваше мнение.

В действительности Акула уже принял решение. Придя домой, он вытащил счетную книгу и снял с воображаемого банковского счета десять тысяч. Затем приписал к своему списку капиталовложений тысячу долларов, вложенных в акции Южной нефтяной компании. С этого дня он с лихорадочным вниманием следил за курсом своих акций на бирже. Чуть поднимется цена, он себе ходит и посвистывает, упадет — у Акулы от мрачных предчувствий сразу в горле комок. И наконец, когда акции Южной компании внезапно резко взлетели вверх, он так возрадовался, что тотчас же отправился в лавку, где приобрел каминные часы из черного мрамора с колонками из оникса по обе стороны от циферблата и с бронзовой лошадью наверху. Те, кто был в лавке, сразу же смекнули и стали перешептываться: Акула, мол, сорвал солидный куш.

А неделю спустя стоимость акций катастрофически упала и компания лопнула. Едва услышав эту новость, Акула вытащил счетную книгу и за-

писал туда, что продал акции за неделю до краха, продал с прибылью в две тысячи долларов.

Пэт Хамберт, возвращаясь из Монтерея, остановил автомобиль на дороге перед домом Акулы.

— Я слыхал, ты здорово накрылся с этой Южной компанией, — сказал он.

Акула самодовольно усмехнулся.

— Да за кого ты меня принимаешь, Пэт? Я продал все еще позавчера. Я ведь не грудной младенец, и тебе это отлично известно. Я знал, что эти акции дутые, но, кроме того, я знал, что некоторое время они будут подниматься, и кто захочет, выйдет сухим из воды. Начали играть на понижение, и я не отстал от других.

— Здорово ты обернулся! — восхитился Пэт.

В лавке он передал новость дальше. Фермеры кивали головами и прикидывали в уме, сколько ж у Акулы накопилось денег. Все сошлись на том, что он деляга будь здоров.

А Акула тем временем взял в монтерейском банке четыреста долларов в долг и купил подержанный трактор фордзон.

Мало-помалу слава о предприимчивости Акулы и его деловой сметке так возросла, что ни один из местных фермеров теперь уж не решался приобрести хоть одну акцию или клочок земли,

или даже лошадь, не посоветовавшись предварительно с Акулой Уиксом. И с каждым из своих почитателей Акула обсуждал все подробности дела, после чего давал на редкость толковый совет.

Спустя несколько лет его счетная книга свидетельствовала, что путем обдуманных капиталовложений Акула накопил сто двадцать пять тысяч долларов. А за то, что он живет, как бедняк, соседи еще больше его уважали — не закружилась, значит, от богатства голова. Уж ему-то пальца в рот не клади. Его жена и красавица дочь по-прежнему возились с овощами и готовили их для продажи, а Акула усердно работал в саду.

Он прожил жизнь, не зная романтической любви. Когда ему было девятнадцать лет, он трижды пригласил на танец Кэтрин Маллок, которую никто не приглашал. Так все и пошло, а потом он на ней женился, потому что этого ожидали и все соседи, и ее семья. Кэтрин не была хорошенькой, зато она обладала крепкой свежестью весенней травы и задором молодой кобылки. После замужества она утратила и свежесть и задор, как цветок после опыления. Она раздалась в бедрах, у нее обвисли щеки, и Кэтрин покорилась новой участи — работать и работать без конца.

В обращении с женой Акула никогда не прояв-

лял ни жестокости, ни нежности. Он обходился с нею ласково и непреклонно, точь-в-точь как с лошадьми. Быть жестоким казалось ему столь же неразумным, как потакать. Он не разговаривал с женой, как разговаривают с человеком, он не рассказывал ей о своих мыслях, надеждах, потерях, о своем богатстве, существовавшем только на бумаге, и об урожае на персики. Если б он когда-либо заговорил с ней о чем-то подобном, Кэтрин бы встревожилась и удивилась. В ее жизни и без того хватало сложностей, совершенно незачем было к ним добавлять груз чужих проблем и мыслей.

Ничего более безобразного, чем бревенчатый дом и двор вокруг, на ферме Уиксов не было. Мусор, хлам, который за год оставляет природа, весь уходит в землю, а вот мусор, оставляемый людьми, куда более долговечен. На земле валялись старые мешки, бумага, битая посуда, перепутанные мотки проволоки. На всем участке было одно лишь место, где не росли ни трава, ни цветы, — утрамбованная земля возле дома; эта земля стала бесплодной и пустынной, потому что на нее без конца выплескивали лохани мыльной воды. Персиковый сад Акула орошал, а вот лить чистую воду у стен собственного дома казалось

ему баловством.

Когда родилась Элис, местные фермерши толпой нагрянули к Уиксам и каждая заранее приготовилась вскричать: «Ах, какое милое дитя!» Но увидев, что дитя действительно прекрасно, они разом онемели и не знали, что сказать. Стоило ли ахать, выражая восторг, ведь это делают обычно с целью утешить молодую мамашу и уверить ее, что кошмарный лягушонок, которого она держит на руках, — и в самом деле особь человеческого рода и не станет чудищем, когда вырастет. И в глазах Кэтрин, устремленных на ребенка, не было того фальшивого восторга, за которым молодые матери обычно прячут разочарование. Когда Кэтрин увидела, что девочка так красива, ее охватили самые разноречивые чувства — изумление, ужас, тревога. Красота Элис была чудом, а за чудом должна была последовать расплата. Красивые дети, уверяла себя Кэтрин, потом становятся уродами. Она твердила это словно заклинание, словно стремясь опередить судьбу и помешать ее козням, предугадав все заранее.

В тот день, когда к ним впервые наведались соседки, Акула слышал, как одна из них с удивлением говорит подруге: «А девочка-то и правда красивая. Как это вышло, ума не приложу».

Услыхав эти слова, Акула возвратился в спальню и долго глядел на ребенка. А потом сидел в саду и снова размышлял. Девочка и в самом деле необыкновенно хороша собой. Дураку понятно, что она не унаследовала эту красоту ни от него, ни от Кэтрин, ни от кого-либо из их родственников — у них в роду все были неказисты. И раз судьба даровала ему такую драгоценность — а драгоценность каждый норовит присвоить, — Элис следует оберегать. Размышляя таким образом, Акула искренне веровал в Бога, только Бог представлялся ему загадочным созданием, которое творит совершенно непонятные вещи.

Элис росла и становилась все красивее. Кожа гладкая и яркая, как маков цвет; черные волосы, блестящие и мягкие, словно стебли папоротника; глаза — бездонное небо надежд. Заглянув в серьезные глаза ребенка, человек начинал думать: «В этих глазах есть нечто такое, что я давно уж знаю, нечто такое, о чем невозможно забыть, или же наоборот — нечто такое, что я ищу всю жизнь и не могу найти». Тут Элис поворачивала головку. «Батюшки! Да это ведь всего-навсего хорошенькая девчушка!»

Акула видел — на его дочку многие так глядят. Он видел, как, взглянув на нее, краснеют взрос-

лые мужчины, а мальчишки дерутся, как тигры, когда она рядом.

В каждом мужчине он подозревал злоумышленника. Работая в саду, Акула изводил себя, воображая, как его дочь утащили цыгане. По десять раз на день он предупреждал ее обо всем, что может оказаться опасным: не подходи сзади к лошади, стукнет копытом; не лезь на забор — свалишься; в овраг спускаться опасно, а переходить дорогу, не оглядевшись, самоубийство. Каждый сосед, каждый бродячий торговец и уж, конечно, каждый незнакомый человек был в его глазах потенциальным похитителем. Услыхав, что в округе появились бродяги, он не спускал с Элис глаз. Люди, приезжавшие на пикник, изумлялись, когда он яростно изгонял их.

Что до Кэтрин, то ее тревожные предчувствия росли по мере того, как Элис становилась все красивей. Судьба, конечно же, готовит ей удар, а пока что копит силы, чтобы удар был поистине страшный. Кэтрин превратилась в рабыню собственной дочери, следила за каждым ее движением, выполняла любое желание — так потакают тяжелобольным.

Но хотя супруги Уикс благоговели перед дочерью, смертельно за нее боялись и тряслись,

словно скряги, над ее красотой, оба они знали, что их хорошенькая дочка на редкость глупая, тупая, просто умственно отсталая девочка. Акуле только подбавляло страхов убеждение, что Элис не сумеет за себя постоять и с легкостью станет добычей любого, кто захочет ее украсть. А Кэтрин была довольна, что дочь глупа — это обстоятельство давало матери множество возможностей помочь неразумной дочке. И помогая ей, Кэтрин укреплялась в сознании своего превосходства, что до некоторой степени уменьшало разделявшую их пропасть. Каждый промах Элис ее радовал — благодаря ему она становилась для дочки более близкой и более необходимой.

Когда Элис сравнялось четырнадцать, к тем заботам, что мучили ее отца, добавилась еще одна. До сих пор Акула лишь боялся, что его дочку украдут или изуродуют, теперь он холодел от ужаса при мысли, что ее могут лишить невинности. И чем больше он раздумывал об этом, тем сильней эта последняя тревога заслоняла обе предыдущие. Как-то ему пришло в голову, что если дочь его лишат невинности, то ее тем самым одновременно и украдут, и изуродуют. С тех пор стоило какому-нибудь мужчине или парню оказаться возле их участка, Акула становился сам не свой.

Эта мысль терзала его, как кошмар. Он то и дело твердил Кэтрин, что с Элис глаз нельзя спускать.

— Откуда ты знаешь, что может случиться, — повторял он, и его белесые глазки горели недобрым огнем. — Откуда ты знаешь, что может случиться с ней.

Он боялся бы гораздо меньше, если б Элис не была глупа. Над такой дурой всякий может надругаться, думал он. Останется с ней где-нибудь наедине и тут же изнасилует. А эта дуреха не сумеет себя соблюсти. Ни один владелец породистой суки не оберегал ее во время течки так, как охранял Акула свою дочь.

Дальше — больше: без твердых гарантий он просто места себе не находил. Каждый месяц приставал он к жене. Он помнил числа лучше, чем она. «Ну, как там у нее, все в порядке?» — допытывался он.

Кэтрин высокомерно отвечала:

— Пока нет.

И через несколько часов:

— Ну, как там у нее, все в порядке?

Он повторял и повторял этот вопрос, пока Кэтрин наконец не говорила:

— Ну, конечно, у нее все в порядке. А ты что думал?

Успокоенный ответом, он на месяц умолкал, но бдительность не утрачивал. Элис сохранила целомудрие, а это значит, что его по-прежнему надо оберегать.

Он понимал, что рано или поздно Элис захочет выйти замуж, но упорно отгонял от себя эту мысль — замужество дочери казалось ему столь же возмутительным, как то, что ее могут соблазнить. Она была драгоценностью, а драгоценность нужно хранить и лелеять. Да и сама эта проблема для него была скорее эстетического, чем морального свойства. Лишенная невинности, Элис тут же перестанет быть тем сокровищем, которое он рьяно охраняет. Он любил ее не так, как отец любит свое дитя. Скорее можно сказать, Акула с алчностью отстаивал свое право на владение красивой, редкой вещью. Периодически повторялся все тот же вопрос: «Ну, как там у нее, все в порядке?» — и так месяц за месяцем… Девственность Элис стала символом ее здоровья, ее целости и сохранности.

Однажды — Элис было уже шестнадцать лет — Акула подошел к жене встревоженный:

— Понимаешь, наверняка-то мы не можем сказать, что у нее все в порядке… одним словом… наверняка мы этого не знаем, покуда доктор ее

не поглядел.

Кэтрин ошеломленно вскинула на него взгляд, пытаясь понять, о чем он толкует. А потом впервые в жизни рассердилась.

— Дрянь ты этакая, ишь чего придумал! — крикнула она. — Пошел вон отсюда. И если еще раз такое брякнешь, я… я тебя брошу.

Эта вспышка немного удивила Акулу, но не испугала. Впрочем, с мыслью о медицинском обследовании ему пришлось расстаться и ограничить себя ежемесячными вопросами.

А тем временем богатство, зафиксированное лишь в счетной книге, все возрастало. Каждый вечер, когда жена и дочь ложились спать, доставал он заветную книгу. Сощурив свои блеклые глазки, с хитрым выражением на бледном лице, он обдумывал, куда поместить капитал, и подсчитывал проценты. Его губы медленно шевелились — Акула отдавал распоряжение по телефону, — играть на повышение или на понижение. Непреклонное, но в то же время и печальное выражение появлялось на его лице — он не разрешал продлить закладную хозяевам отличной фермы. «Мне это тоже очень неприятно, — говорил он шепотом. — Но, сами понимаете, дело есть дело».

Акула обмакнул перо в чернильницу и записал

в счетную книгу, что в продлении закладной отказано. «Салат, — размышлял он. — Все взялись за салат. Как пить дать, наводнят теперь им рынок. Заняться что ли картошкой? Мне кажется, на этом можно заработать. Есть у меня на примете хорошая земля в низинке». И он пометил в книге, что нужно отвести триста акров под картошку. Его глаза блуждали по строчкам. В банке лежат триста тысяч долларов и приносят проценты, только проценты. Досадно. Деньги, можно сказать, без толку лежат. Он задумался, в его белесых глазках появилось угрюмое выражение. Вот интересно, надежная это фирма — «Сан-Хосе, строительство и ссуды»? Шесть процентов платят, между прочим. Но ввязываться в такое дело очертя голову нельзя. Закрывая на ночь счетную книгу, Акула решил, что потолкует с Джоном Уайтсайдом. Бывает ведь, компании такого рода прогорают, а учредители удирают с чужими деньгами, думал он с тревогой.

До того, как семья Мэнро переселилась в долину, Акула подозревал в дурных умыслах всех мужчин и парней, но как только он увидел Джимми Мэнро, его страхи и подозрительность сосредоточились на этом многоопытном юнце. А юноша и в самом деле был хорош собой и строен, с

чувственным, красиво очерченным ртом, и глаза его блестели оскорбительно дерзко, что присуще окончившим школу юнцам. Говорили, что Джимми пьет джин; он носил городские костюмы, комбинезонов никогда не надевал. Волосы он смазывал брильянтином, а от всей его осанки и повадки веяло такой лихостью, что молодые жительницы Райских Пастбищ тут же принимались ерзать и хихикать, обуянные смущением и восторгом. Джимми взирал на своих поклонниц спокойными, циничными глазами и старался выглядеть как можно более распущенным. Он знал, что молодых девиц привлекают молодые люди с прошлым. А у Джимми было прошлое. Он несколько раз напился в «Риверсайд Данс Пэлас»; он целовался по крайней мере с сотней девушек; а три девушки с ним согрешили под сопью и на берегу реки Салинас. Джимми очень старался, чтобы на его лице отражались следы порока, но опасаясь, что чисто внешнего впечатления недостаточно, он распустил о себе множество пикантных слухов, которые разнеслись по Райским Пастбищам с лестной для него быстротой.

Слухи дошли и до Акулы Уикса. Ушлый Джимми Мэнро вызывал в нем такой страх, что Акула его возненавидел. Разве сможет, размышлял Аку-

ла, красивая и глупая Элис устоять против такого опытного соблазнителя?

Элис еще ни разу не видела юношу, а Акула уже запретил ей с ним встречаться. Он требовал этого так настойчиво, что даже в ее темном сознании зашевелился некий интерес.

— Ты гляди мне, не вздумай болтать с этим Джимми Мэнро, — внушал он дочке.

— А кто это — Джимми Мэнро, папа?

— Не твое дело! Не смей с ним болтать — и конец. Слышала? Шкуру с тебя спущу, если ты на него только взглянешь.

Акула ни разу в жизни не поднял руку на Элис по той же самой причине, по которой он не мог нанести удар по фарфоровой вазе. Он даже не решался приласкать дочку — вдруг останется какой-то след. Да и наказывать ее было незачем. Элис всегда была добрым и послушным ребенком. Дурные наклонности возникают от честолюбия или вследствие какой-нибудь идеи. А у Элис не было ни того, ни другого.

И опять:

— Ну, как там, этот Джимми Мэнро с тобой не разговаривал?

— Нет, папа.

— Ну, смотри, не дай бог я вас застукаю за раз-

говором.

После того, как Акула много раз повторил свой запрет, в дремучий разум Элис вкралось убеждение, что хорошо бы ей познакомиться с Джимми Мэнро. Он ей даже один раз приснился — признак глубочайшего интереса. Элис редко что-либо снилось. В этом сне некий мужчина, похожий на индейца из ее настенного календаря и носивший имя Джимми, подкатил к ней на сверкающем автомобиле и преподнес огромный сочный персик. Элис вонзила в персик зубы, сок потек по подбородку, и ей стало стыдно. Тут мать ее разбудила, так как Элис храпела. Кэтрин радовало, что дочка храпит. Эти мелкие недостатки их уравнивали. Но в то же время храпеть так не женственно.

Акула Уикс получил телеграмму. «Тетя Нелли скончалась прошлой ночью. Похороны субботу». Он сел в свой форд и двинулся на ферму Джона Уайтсайда сообщить, что не сможет присутствовать на заседании попечительского совета. Уже перед самым уходом Акула озабоченно сказал:

— Вот хотел спросить, как вы считаете насчет фирмы «Сан-Хосе, строительство и ссуды»?

Джон Уайтсайд улыбнулся.

— Об этой фирме я мало что знаю.

— Понимаете ли, в банке у меня лежат трид-

цать тысяч и приносят всего три процента. Я вот подумал, надо бы их куда-нибудь повыгодней пристроить.

Джон Уайтсайд сморщил губы и легонечко подул на палец.

— Ну, пока что я могу сказать только одно: с такой компанией, как «Строительство и ссуды», рискнуть, пожалуй, можно.

— Нет, я так дела не делаю. Никакого риска, — резко возразил Акула. — Я пальцем не пошевелю, если не уверен в выгоде. Охотников до риска без меня хватает.

— Я, пожалуй, слишком осторожно выразился, мистер Уикс. Я хотел сказать, что все эти строительные и ссудные компании, как правило, бывают надежны. И процент выплачивают немалый.

— Ну, что ж, займусь этим, — решил Акула. — Я сейчас еду в Окленд на похороны тети Нелли, так задержусь заодно часика на три в Сан-Хосе и загляну к ним, в эту компанию.

В этот день Акула посоветовался еще с несколькими людьми, а к вечеру в лавке снова состоялся разговор на тему, сколько же он все-таки накопил.

— Одно я вам скажу, — заключил Т. Б. Аллен. —

Он и у того спросит совета, и у другого, а голова-то, между прочим, у него работает, и пока он сам во все не вникнет, по чужой указке поступать не будет.

— Это уж точно, уж он не дурак, — дружно согласилась вся компания.

В субботу утром Акула отправился в Окленд, а его жена и дочь впервые в жизни остались на ферме одни. В тот же вечер к ним пожаловал Том Бремен пригласить Кэтрин и Элис в школу на танцы.

— Ох, мне кажется, это не понравилось бы мистеру Уиксу, — сказала Кэтрин, — она и испугалась, и разволновалась.

— Разве он вам запретил туда ходить?

— Нет, он ничего не говорил, но… до сих пор он ведь никуда и не уезжал. Боюсь, это ему не понравится.

— Да ему в голову просто не приходило, вот и не говорил, — успокаивал ее Том Бремен. — Ну, пойдемте. Собирайтесь!

— Пойдем, мама, — сказала Элис.

Кэтрин понимала — дочери решать легко, она слишком глупа, чтоб бояться. Элис не способна думать о последствиях. И о тех мучительных разговорах, что начнутся после возвращения Акулы.

Кэтрин казалось, она уже слышит, как он бубнит: «Ума не приложу, чего это вам вздумалось бежать на танцы, как только я уехал. Я-то думал, вы будете за фермой приглядывать, а они сразу на танцульку понеслись». Ну, а потом пойдут вопросы: «С кем Элис танцевала? Хм… И что он ей говорил? Это почему же ты не слышала? Должна была слышать». Злиться он не будет, он будет без конца ее пилить, пока ей не станет тошно даже думать о танцах. А потом наступит это самое число, и пойдут его любимые вопросики, они будут жужжать, как москиты, до тех пор, пока он не убедится, что Элис не ожидает ребенка. Вряд ли удовольствие сходить на танцы стоит того, чтобы терпеть потом эту мороку.

— Пойдем, мама, — упрашивала Элис. — Мы ведь с тобой никогда не выходили из дому без папы.

Волна острой жалости захлестнула Кэтрин. Бедная девочка, в ее жизни не было совершенно ничего. И с парнями никогда не перемолвилась словечком, ведь отец с нее глаз не спускал.

— Ладно, — согласилась она наконец. — Если мистер Бремен подождет, пока мы соберемся, мы пойдем на эти танцы.

Она представила себе, что будет вытворять

Акула, и почувствовала себя ужасно храброй.

Деревенской девушке так же плохо быть слишком красивой, как и уродливой. Когда молодые фермеры смотрели на Элис, у них перехватывало дух, они не знали, куда девать вдруг ставшие слишком большими руки, их затылки багровели; никакая сила в мире не могла принудить хотя бы одного из них с нею заговорить, пригласить ее на танец. Они отчаянно отплясывали с менее красивыми партнершами, вели себя шумно, как застеснявшиеся мальчуганы, и вытворяли бог знает что. Стоило Элис отвернуться, они украдкой на нее косились, но когда она сама глядела на них, старательно делали вид, что ее не замечают. Элис к этому давно привыкла и даже не догадывалась, что красива. Она покорялась своей участи «подпирать стену».

Когда Кэтрин и Элис вошли в зал, где были танцы, Джимми Мэнро уже находился там. Он стоял у стенки, элегантно небрежный, скучающий, высокомерный. Ширина его штанин достигала чуть ли не полметра, носки лакированных туфель были квадратны, как кирпичи. Черный галстук-бабочка украшал его белую шелковую рубашку, волосы, смазанные брильянтином, блестели. Джимми был горожанин в отличие от остальных.

Он устремился к своей жертве неспешно и неотвратимо, как ястреб. Не успела Элис снять пальто, как он уж был рядом. Усталым тоном, усвоенным в старших классах школы, он предложил:

— Станцуем, детка?

— Чего? — спросила Элис.

— Я сказал, пойдемте танцевать?

— Танцевать, вы говорите?

Она обратила на него бездонные, что-то обещающие глаза, и смешной, глупый вопрос прозвучал насмешливо и призывно, в нем, казалось, таился намек, от которого разволновался даже циник Джимми.

«Танцевать? И только-то?» — казалось, спросила она. Несмотря на всю свою искушенность, Джимми ощутил, что у него перехватило дух, что он не знает, куда девать руки и ноги, и кровь бросилась ему в голову.

Элис повернулась к матери, которая уже вела с миссис Бремен оживленный разговор на кулинарные темы.

— Мама, можно я потанцую? — спросила Элис.

Кэтрин улыбнулась ей.

— Ступай, ступай, — ответила она. — Повеселишься хоть раз в жизни.

Как сразу обнаружил Джимми, Элис танцевала

скверно. Когда музыка умолкла, он сказал: «Тут очень жарко, а? Давай пройдемся». И увел ее под ивы во дворе.

Спустя некоторое время сидевшая на крылечке соседка вошла в зал, подошла к Кэтрин и что-то ей шепнула. Кэтрин вздрогнула и ринулась во двор.

— Элис! — раздался ее отчаянный крик. — Элис, сюда, сию же минуту!

Когда двое беглецов возникли из темноты, Кэтрин яростно набросилась на Джимми.

— Не смей к ней подходить, ты слышишь, что я говорю? Не смей к ней подходить, а то плохо будет, слышишь!

Джимми порядком перетрусил. Он чувствовал себя, как маленький мальчик, которому велели немедленно отправляться домой. Противно, конечно, но приходится подчиниться.

Кэтрин схватила дочь за руку и потащила в дом.

— Тебе папа говорил, чтоб ты не связывалась с Джимми Мэнро? Говорил он тебе или нет? — яростно накинулась она на Элис. Кэтрин была вне себя от ужаса.

— А это он? — спросила Элис шепотом.

— Кто же, как не он? И что ты там делала с ним?

— Целовалась, — испуганно пролепетала Элис.

Кэтрин словно обухом ударили по голове.

— О, господи, — сказала она. — О, господи, что ж мне делать?

— А это плохо, мама?

Кэтрин нахмурилась.

— Плохо? Нет, нет, это совсем не плохо! — вскрикнула она. — Это… даже хорошо. Только вот что: пусть папа об этом не знает. Даже если спросит, не говори ему! Он… да он с ума сойдет. А сейчас вот что: будешь сидеть весь вечер рядом со мной, и никаких там Джимми Мэнро, ясно? Может, папа все-таки об этом не узнает. Господи, ну сделай так, чтоб не узнал!

В понедельник Акула Уикс сошел с вечернего поезда в Салинасе и сел в автобус, направлявшийся к перекрестку, от которого ответвлялась дорога на Пастбища. А уж оттуда он пешком потащил свой саквояж — до дому оставалось четыре мили.

Ночь была ясная, теплая, все небо в звездах. Горы таинственным приглушенным шумом приветствовали его возвращение домой и настроили на мечтательный лад. Он шел задумавшись.

Похороны понравились Акуле. Красивые цветы, и к тому же так много. Женщины плакали,

мужчины передвигались по дому торжественно, бесшумно, и все это пробудило в его душе тихую и, в общем, приятную печаль… Даже отпевание, торжественный ритуал, которого никто не понимает и в который никто не вслушивается, таинственным образом влил в его душу некие целительные токи, благотворные для тела и ума. Целый час он пробыл в церкви, отрешившись от мирской суеты; аромат ладана и цветов навеял на него тихую благость, и перед взором его приоткрылась вечность. Все это возникло в нем благодаря величественной процедуре отпевания.

Тетушку Нелли он почти не знал, но ее похороны доставили ему огромное удовольствие. А родственники, вероятно, уже проведали о его богатстве и обходились с ним почтительно. И сейчас по дороге домой он вспоминал все это, и время пролетело незаметно, путь сократился — Акула неожиданно быстро дошел до Райских Пастбищ и до лавки.

Владелец лавки Т. Б. Аллен всегда был в курсе всех новостей; кроме того, старик любил и умел раздувать в слушателях интерес, притворяясь, будто бы он до смерти не хочет ничего рассказывать. Самая пустая сплетня превращалась в

волнующее известие, когда за дело брался старик Т. Б.

Когда Акула вошел в лавку, там был только хозяин. Т. Б. уселся на откидной стул у стены, и глаза его зажглись любопытством.

— Люди говорят, ты уезжал, — произнес он тоном заговорщика.

— Я был в Окленде, — сказал Акула. — Надо было на похоронах побывать. А заодно я там надумал провернуть одно дельце.

Т. Б. выждал ровно столько, сколько полагал необходимым и спросил:

— Ну и как, серьезные дела?

— Да я бы не сказал. Заглянул в одно предприятие.

— И акции купил? — почтительно поинтересовался Аллен.

— Купил кое-что.

Оба опустили головы и сосредоточенно разглядывали пол.

— А без меня тут что-нибудь случилось?

И тотчас же на лице старика появилось выражение досады. Видно было, ему ужасно не хочется рассказывать о том, что произошло; видно было, сплетничать ему просто противно.

— В школе танцы были, — промямлил он на-

конец.

— Знаю, слышал.

Аллен заерзал на своем откидном стуле. Видно было: в нем шла внутренняя борьба. Выложить все, как есть, Акуле для его же пользы или промолчать? Акула следил за ним с интересом. Он такие вещи уже много раз видал.

— Ну, выкладывай, — сказал он наконец.

— Вот, говорят, свадьба скоро будет.

— Да? А где ж это?

— Да уж прямо скажем, недалеко искать.

— Где? — опять спросил Акула.

Т. Б. сделал попытку побороть себя, но не смог.

— В твоем доме, — сказал он со вздохом.

Акула хмыкнул.

— В моем?

— Элис, говорят, выходит замуж.

Акула окаменел и в ужасе уставился на старика. Потом он шагнул к нему, надвинулся на него с угрозой.

— Это как понять? Как понять это, выкладывай, слышишь ты!

Т. Б. уразумел, что назад пути нет. Он съежился.

— Ну, хватит вам, мистер Уикс! Хватит, что вы в самом деле!

— Говори, что это значит! Говори все.

Акула схватил Т. Б. за плечи и встряхнул, дрожа от злости.

— Да ничего особенного, на танцах это случилось… просто на танцах.

— Элис ходила на танцы?

— Ага.

— И что она там натворила?

— Не знаю. То есть ничего.

Акула рывком стащил его со стула; у Аллена подгибались колени.

— Говори! — взревел он.

Старик жалобно захныкал:

— Да ей-богу, ничего, с Джимми Мэнро она во двор выходила.

Уикс схватил его за плечи и принялся трясти насмерть перепуганного лавочника, как мешок с мукой.

— А что они там делали? Выкладывай!

— Не знаю я, мистер Уикс.

— Говори!

— Ну… мисс Берк… мисс Берк сказала… они целовались.

Тут Акула выронил его и сел. Он похолодел от ужаса — выходит, все пропало. Он сверлил старика злобным взглядом, не в силах переварить

эту весть — его дочь утратила невинность. Ему в голову не приходило, что дело обошлось только поцелуями. Потом он отвернулся, его взгляд растерянно блуждал по лавке. Вдруг Аллен увидел, что этот взгляд остановился на выставленных в витрине ружьях.

— Эй, Акула, ты не вздумай! — крякнул он. — Эти ружья не твои.

О ружьях Акула не думал, он даже их не замечал, но сейчас, когда ему о них напомнили, он бросился к витрине, открыл ее и вытащил тяжелую винтовку. Оторвал ярлык с ценой и сунул коробку патронов в карман. Потом, решительно шагая, вышел и даже не посмотрел в сторону лавочника. Звук его шагов еще не замер в темноте, а старик Т. Б. уже звонил по телефону.

Акула быстро шел к ферме Мэнро, и в голове его царил полный сумбур. Лишь одно он знал наверняка — понял, прошагав совсем немного: он ни в коем случае не собирается убивать Джимми Мэнро. Мысль застрелить Джимми подсказал ему лавочник, сам он и в голове такого не держал. Ну, а теперь-то что делать? Он попытался представить себе, как будет вести себя в доме Мэнро. Может, все-таки придется его застрелить. Может, все сложится так, что ему волей-неволей

надо будет совершить убийство, дабы защитить свою честь.

Акула услышал, что к нему приближается машина, и спрятался в кустах, а автомобиль с ревом промчался мимо. Идти ему уже совсем недолго, а между тем чувства ненависти к Джимми Мэнро нет как нет. И ни к кому нет этого чувства, есть лишь ноющее ощущение пустоты, возникшее, когда он услыхал, что его дочь утратила невинность. И сейчас ему упорно чудилось, что Элис уже нет в живых, — она для него умерла.

Он увидел огоньки, это светились окна в доме Мэнро. И тут Акула понял: он не может застрелить Джимми. Пусть хоть вся деревня смеется над ним, он не в силах выстрелить в этого парня. Он вообще не может никого убить. Тогда он решил просто заглянуть в калитку, а после этого пойти домой. Пусть их смеются, если угодно, он не способен ни в кого стрелять.

И тут вдруг из-за куста вышел человек и крикнул:

— А ну, Уикс, бросай винтовку и руки вверх!

Акула положил винтовку на землю, покорно и устало. Он узнал по голосу помощника шерифа.

— Приветствую, Джек, — сказал он.

Потом его окружили. Позади тех людей, что его

схватили, маячило перепуганное лицо Джимми. И Берт Мэнро тоже порядком струхнул.

— Что это ты надумал стрелять в моего Джимми? — испуганно спрашивал он. — Он тебе ничего плохого не сделал. Старик Т. Б. мне позвонил и все сказал. А теперь уж не беспокойся, я тебя упрячу в такое место, где ты будешь смирно сидеть.

— У нас нет права засадить его в тюрьму, — вмешался помощник шерифа. — Сделать-то он ничего не успел. Мы только можем взять с него штраф.

— Правда? Ну что ж, ладно, штраф так штраф, — у Берта срывался голос.

— А вы потребуйте с него большой штраф, — посоветовал помощник шерифа. — Акула ведь у нас богач. Поехали с нами. Мы отвезем его в Салинас, и вы изложите там свою жалобу.

На следующее утро Акула Уикс вошел в свой дом, едва волоча ноги, и сразу же улегся в кровать. Глаза у него были тусклые, усталые, но Акула их не закрывал. Руки висели, как плети. Он лег и в неподвижности пролежал несколько часов.

Кэтрин, работавшая на огороде, видела, как он вернулся. Ей было и приятно, и в то же время тяжело, что он так идет — с поникшими плечами, беспомощно понурив голову, но когда наступила

пора варить обед, она вошла в дом на цыпочках и предупредила Элис, чтоб не шумела.

В три часа Кэтрин заглянула в спальню.

— У Элис все в порядке, — сообщила она. — Ты бы у меня сперва спросил, а потом за винтовку хватался.

Акула не сказал ни слова и не пошелохнулся.

— Ты не веришь мне, — ее напугало, что он лежит, как неживой. — Если не веришь, можно доктора позвать. Давай я сразу же за ним пошлю, если не веришь.

Акула даже головы не повернул.

— Я тебе верю, — ответил он вяло.

Кэтрин, стоя на пороге, глядела на мужа, и незнакомое ей прежде чувство охватило ее. Она и не подозревала, что может так себя вести. Что-то теплое шевельнулось в сердце. Она села на край кровати и уверенным движением положила себе на колени голову мужа. Она сделала это инстинктивно, а потом повинуясь все тому же сильному, решительному чувству, стала гладить его по голове. Он, казалось, совсем обессилел.

Она гладила его по голове, а он глядел и глядел в потолок, а потом все-таки заговорил, монотонно, дребезжащим голосом.

— Денег-то у меня нет, — сказал он. — Прита-

щили в суд и говорят, мол, плати десять тысяч штрафа. Пришлось все рассказать судье. И все это слышали, все. Теперь, стало быть, все знают, что у меня нет денег. Нет и никогда не было. Поняла? Эта моя счетная книга — чистая фикция. Все, что я туда записывал, — ложь. Все до последней строчки. Я все сам придумал. А теперь это знает каждый, мне ведь пришлось сказать правду судье.

Кэтрин ласково гладила его по голове, и незнакомое, теплое чувство, что шевельнулось вдруг в ее душе, росло. Ей казалось, что она сильнее всех на свете. Вот, весь мир лежит сейчас у нее на коленях и ждет от нее утешения. Сострадание сделало ее могущественной. Она может, думалось ей, утолить все скорби мира.

— Я никого не собирался трогать, — продолжал Акула. — В этого Джимми я и не думал стрелять. Я просто не успел еще назад повернуть, а они меня уже сцапали. Решили, я хочу его убить. А сейчас все знают. У меня совсем нет денег. — Он валялся на кровати, как тряпка, и все глядел, глядел в потолок.

И тут внезапно жаркое сочувствие к мужу превратилось в силу, захватило всю ее. В одно мгновение Кэтрин поняла, что от нее зависит

очень многое. Она ликовала от счастья, и в этот миг была прекрасна.

— Тебе просто не везло, — сказала она тихо. — Связался с этой старой фермой, а разве здесь чего добьешься?

Вот тебе и негде было счастья попытать. Ну, чего это ты вдруг решил, что разбогатеть не сможешь. А *я считаю — сможешь. Даже убеждена.*

Кэтрин говорила уверенно. Она знала, что сейчас сумеет сделать все, что жизнь ее прошла в ожидании этого мига. В этот миг она была богиней, вестницей судьбы. Поэтому она не удивилась, когда увидела, что муж пришел в себя. Она все гладила его по голове.

— Мы уедем, — внушала она. — Ферму продадим и уедем. И тогда уж тебе повезет. Вот увидишь. Я знаю, на что ты способен. Я в тебя верю.

Живая искорка зажглась в глазах Акулы. Он привстал. Он смотрел на Кэтрин и видел, что она прекрасна, а пока он глядел на нее, жар ее души передался ему. Он уткнулся головой в ее колени.

Кэтрин опустила голову и посмотрела на него. Силы начали оставлять ее, и она испугалась. Вдруг Акула приподнялся и сел на кровати. Он успел уже забыть о Кэтрин, но в глазах его свети-

лась та энергия, которую она передала ему.

— Ждать недолго! — крикнул он. — Продам ферму и уеду. И тогда удача от меня не уйдет. Я своего добьюсь. Они еще увидят.

IV

Тайна происхождения Туляречито покрыта мраком. А вот о том, как он появился в здешних местах, ходит легенда. Жители Райских Пастбищ в нее не очень-то верят, так же, впрочем, как они не верят в привидения.

У Франклина Гомеса был работник, мексиканский индеец по имени Панчо, больше у него не было ничего. Раз в три месяца Панчо, захватив свои сбережения, отправлялся в Монтерей, исповедовался в грехах, исполнял епитимью, получал отпущение грехов и напивался — все это именно в такой последовательности. К тому времени, когда салуны закрывались, Панчо добирался до своей повозки и засыпал, если, конечно, ему удавалось не угодить в тюрьму. Лошадь сама знала дорогу и к утру привозила его домой — так что Панчо успевал позавтракать и отправиться на работу. Панчо всегда прибывал на ферму спящим; вот почему его там встретили однажды утром с особым интересом: дело в том, что на сей раз он влетел в загон галопом, причем не только бодрствовал, но и что-то орал во всю глотку.

Франклин Гомес оделся и вышел узнать, что случилось. Из бессвязного, путаного рассказа индейца он выяснил примерно вот что: Панчо ехал домой, как всегда, конечно, абсолютно трезвый. Неподалеку от Черного Места, в кустах полыни возле дороги он услышал плач ребенка. Он остановил повозку и пошел взглянуть — малых детей в таких местах обычно не бывает. В зарослях полыни он и в самом деле нашел грудного младенца. Панчо показалось, что ему месяца три. Он его поднял, зажег спичку, чтоб рассмотреть находку, и вдруг — о ужас! — малютка ехидно ему подмигнул и сказал басом:

— Посмотри, какие у меня острые зубки!

Панчо не стал смотреть. Он отшвырнул свою зловещую находку, прыгнул в повозку и галопом погнал к дому, нахлестывая старую кобылу и подвывая по-собачьи.

Франклин Гомес задумчиво чесал в затылке. Насколько он знал, Панчо мужик спокойный, дурь на него не нападает даже под мухой. Подъезжая к дому, Панчо не спал — одно это уже свидетельствовало о том, что он действительно видел нечто странное в полыни. В конце концов Франклин Гомес велел оседлать коня, разыскал ребенка и привез его домой. В течение трех лет

дитя больше ничего не говорило; и зубов у него, как выяснилось, не было. Тем не менее Панчо был твердо убежден, что все случилось именно так, как он рассказывал.

У младенца были коротенькие, толстые ручки и длинные, растопыренные, как у лягушки, ноги. Большая голова без всяких намеков на шею сидела на слишком широких плечах. Из-за плоского лица и необычного телосложения младенца, разумеется, прозвали Туляречито — Лягушонок. Впрочем, Франклин Гомес часто называл его Койот. «Потому, — объяснял он, — что есть в лице этого малыша какая-то древняя мудрость, что-то от койота».

— Ну, а как же руки, ноги и плечи, сеньор? — возражал в таких случаях Панчо. И за ребенком закрепилось прозвище Туляречито.

Кто оставил на дороге это маленькое, уродливое существо, осталось тайной. Франклин Гомес считал его членом семьи, Панчо ходил за ним, как нянька, и все же так и не смог освободиться до конца от страха перед мальчиком. Ни годы, ни суровые епитимьи не могли вытравить то впечатление, которое произвела на него их первая встреча.

Мальчик рос быстро, но после пяти лет его

умственное развитие прекратилось. В шесть лет Туляречито мог выполнять работу взрослого человека. Его руки с длинными пальцами были сильней, чем у взрослого мужчины, и намного проворней. Удивительно умелые и ловкие, они делали его на ранчо незаменимым. Пальцы мальчика легко расправлялись с самыми тугими узлами. У Туляречито были руки настоящего художника. Его чувствительные пальцы ни разу не повредили ни одного молодого ростка, ни одной привитой веточки. В то же время эти безжалостные пальцы без всякого усилия могли свернуть голову индюку. У Туляречито был еще один удивительный дар: ногтем большого пальца он вырезал из песчаника фигурки животных. Весь дом Франклина Гомеса был заставлен фигурками койотов, пум, цыплят и белок. С потолка в столовой на проволочках свисало изображение парящего ястреба. Панчо, который никогда не считал мальчика человеком, приписывал его способность ваять дьявольским козням.

Хотя жители Райских Пастбищ и не верили в потустороннее происхождение Туляречито, в его присутствии они чувствовали себя неловко. Что-то неприятное, пещерное было в его глазах. В лице мальчика было нечто от троглодита. Его

необычные способности и огромная физическая сила пугали местных фермеров. Дети его избегали.

Вывести Туляречито из себя можно было только одним способом. Когда кто-нибудь — мужчина, женщина или ребенок — неосторожным прикосновением разрушал плоды его трудов, он приходил в ярость. Глаза его вспыхивали, и он бросался на обидчика, готовый его убить. В этих случаях Франклин Гомес трижды прибегал к крайней мере — связывал Туляречито по рукам и ногам и оставлял в таком виде до тех пор, пока к нему не вернется обычное добродушие.

Когда Туляречито исполнилось шесть лет, он не пошел в школу. Прошло еще лет пять. За это время инспектор по делам несовершеннолетних и директор школы несколько раз весьма решительно рекомендовали Гомесу заставить мальчика учиться. Тот соглашался, он даже настойчиво выталкивал его из дома в школу, но Туляречито так ни разу туда не добрался. Он боялся, что школа окажется местом отнюдь не привлекательным, и просто исчезал дня на два. Только когда мальчику исполнилось одиннадцать, — у него уже были плечи атлета и руки настоящего разбойника — согласованными усилиями ревнители закона

усадили его за парту.

Как и думал Франклин Гомес, Туляречито не стал учиться. Зато у него сразу же проявился новый талант — он начал рисовать так же хорошо, как вырезал фигурки из песчаника. Когда мисс Мартин, учительница, заметила это, она предложила ему нарисовать парад зверей. Туляречито долго трудился после уроков, и на следующее утро на доске появилась удивительная процессия. Там были все животные, которых Туляречито когда-либо видел, все птицы, которые водились у них в горах. Вслед за коровой ползла гремучая змея, койот с гордо поднятым хвостом шел следом за свиньей. Были там и кошки, и козы, и суслики, и черепахи. Каждый зверь был нарисован абсолютно точно.

Мисс Мартин поразили способности Туляречито. Она похвалила его перед всем классом и прочитала маленькую лекцию о каждом из нарисованных им животных. В своем воображении она уже купалась в лучах славы, которую ей принесет открытие нового, удивительного таланта.

— Я еще много чего могу, — сообщил Туляречито.

Мисс Мартин похлопала его по широкому плечу.

— Вот и отлично, — сказала она. — Ты будешь работать каждый день. Этот дар ниспослан тебе Богом. — Тут она вдруг поняла, как важно то, что она произносит. Наклонившись к Туляречито и испытующе глядя в его хмурые глаза, она медленно повторила: — Этот дар ниспослан тебе Богом. — Мисс Мартин посмотрела на часы и решительно добавила: — Четвертый класс — арифметика. У доски.

Четвероклассники выскочили из-за парт, схватили ластики и начали стирать рисунки, чтоб освободить доску. Увидев, что они уничтожают плоды его трудов, Туляречито кинулся на них с кулаками. Это был страшный день. Мисс Мартин с помощью всей школы не смогла с ним справиться. В ярости Туляречито обретал силу взрослого мужчины, и к тому же — сумасшедшего мужчины. В ходе битвы класс подвергся страшным разрушениям: парты лежали вверх тормашками, чернила текли рекой, по всей комнате валялись цветы. Платье мисс Мартин изодрали в клочья, старшие мальчики, на чьи плечи в основном легло бремя сражения, были жестоко избиты. Туляречито дрался руками, ногами и головой. И при этом кусался. Никаких правил чести он не признавал и в конце концов одержал победу.

Все ученики с мисс Мартин в арьергарде бежали с поля боя, оставив его во власти разъяренного Туляречито. Когда в школе не осталось никого, кроме него, он запер дверь, стер кровь с лица и принялся восстанавливать рисунки.

Вечером мисс Мартин зашла к Франклину Гомесу и потребовала, чтобы он выпорол мальчишку.

Гомес пожал плечами.

— Вы в самом деле хотите, чтоб я его высек, мисс Мартин?

Лицо учительницы было все в царапинах, у рта легла скорбная складка.

— Да, хочу, — сказала она. — Если бы вы видели, что он сегодня натворил, вы бы меня не осуждали. Я уверена: его следует проучить.

Гомес снова пожал плечами и позвал Туляречито. Он снял со стены тяжеленный арапник. Во время экзекуции мальчик ласково улыбался мисс Мартин, которая невольно вздрагивала при каждом ударе. Когда наказание было окончено, Туляречито ощупал себя и, все так же улыбаясь, отправился спать.

Мисс Мартин с ужасом за ним наблюдала.

— Господи, да это просто животное, — воскликнула она. — Похоже было, будто бьют собаку.

На лице Франклина Гомеса мелькнула тень

презрения.

— Собака выла бы от страха, — сказал он. — Ну вот, вы получили, что хотели, мисс Мартин. Вы говорите, он — животное, но, ей-богу, это доброе животное. Вы велели ему нарисовать картинки, потом сами же их стерли. Туляречито это не понравилось… — Мисс Мартин попыталась его перебить, но он быстро продолжал: — Не надо было Лягушонку ходить в школу. Он умеет работать; у него золотые руки, но в школе он не выучится ничему. Он не сумасшедший, просто Бог не дал себе труда доделать его до конца. Я уже говорил это директору, но он сказал, что по закону Туляречито должен ходить в школу, пока ему не исполнится восемнадцать лет. Значит, еще семь осталось. Семь лет мой Лягушонок будет торчать в первом классе, потому что так велит закон. Ну, что ж, ничего не поделаешь.

— Его надо изолировать! — прорвалась наконец мисс Мартин. — Он опасен. Если б вы его сегодня видели!

— Нет, мисс Мартин, пусть гуляет на свободе. Он не опасен. Вы знаете, как он работает в саду? А как он доит корову? Он добрый мальчик. Он может усмирить норовистую лошадь, не садясь в седло; натаскать пса, даже пальцем его не тронув,

но закон велит ему еще семь лет сидеть в первом классе и повторять за вами: «К, О, Т — кот». Если бы он был опасен, он бы запросто убил меня, когда я только что хлестал его арапником.

Мисс Мартин поняла, что существуют вещи, которые выше ее разумения и, поняв это, испытала к Франклину Гомесу острую неприязнь. Она чувствовала, что поступила подло, а он был великодушен. Придя на следующее утро в школу, она застала там Туляречито. Все стены класса сплошь были покрыты изображениями животных.

— Видите? — сказал он, и глаза его засияли. — Теперь их куда больше. А еще у меня есть книга со всякими другими животными, я бы их всех нарисовал, да места не хватило.

Мисс Мартин не стала стирать картинки, классную работу выполняли теперь на бумаге, но в конце полугодия она уволилась, сославшись на здоровье.

Мисс Морган, новая учительница, была очень молоденькая и очень хорошенькая — с точки зрения пожилых жителей деревни, слишком молоденькая и опасно хорошенькая. В старших классах занимались парни лет семнадцати. Вполне естественно, что возникли серьезные сомнения, сумеет ли такая молодая и в то же время

такая хорошенькая учительница поддерживать в школе хоть какой-то порядок.

Мисс Морган была просто влюблена в свою профессию. Все были поражены, ибо давно привыкли к старым девам, чьи лица выражали только беспредельную усталость. А мисс Морган буквально наслаждалась процессом преподавания, нудную процедуру школьной учебы она превратила в настоящий праздник.

Туляречито произвел на нее сильное впечатление. Оказывается, она уже все о нем знала — читала в книгах, слушала на лекциях. Услышав о сражении, разыгравшемся в школе, освободила ему место в верхней части доски, чтобы он мог рисовать, никому не мешая. Когда он использовал все свободное место, она на свои деньги купила ему пачку бумаги и мягкий карандаш. С тех пор его уже не беспокоили по поводу правописания. Он каждый день прилежно рисовал, а к концу уроков преподносил мисс Морган чудесные картинки, изображавшие все тех же птиц и зверей. Она развесила его рисунки над доской.

Ученики с восторгом приняли ее реформы. В школе стало интересно. Даже те, кто снискал завидную репутацию «трудных детей», теперь гораздо меньше увлекались проектом поджога

школы.

А потом мисс Морган ввела правило, за которое ученики стали просто ее обожать. Каждый день около получаса она уделяла чтению. Она читала им «Айвенго», «Талисман»; рыбачьи рассказы Зейна Грина, охотничьи — Джеймса Оливера Кервуда; «Морского волка» и «Зов предков», не какие-то там детские сказки про лису, гусей и рыжую курицу, а настоящие взрослые книги.

Читала она превосходно. Ей удалось покорить даже самых отпетых хулиганов. Никому теперь и в голову не приходило играть на уроках в хоккей. Все слушали, затаив дыхание.

Один Туляречито продолжал рисовать, лишь изредка отрываясь от своего занятия, чтобы взглянуть на учительницу и тоже послушать. Иногда он пытался понять, что интересного в этих рассказах, повествующих о чужих людях и далеких событиях. Он считал, что все это было на самом деле — иначе зачем об этом писать? Рассказы напоминали ему уроки, и он не слушал их.

Со временем мисс Морган поняла, что несколько переборщила с чтением для старших. Сама она любила сказки. Ей нравилось думать, что люди, уверовавшие в чудеса, могут увидеть их воочию. В кругу своих близких друзей, эрудитов

и интеллектуалов, она часто говорила, что духовный голод, поразивший Америку, возник отчасти и оттого, что люди разучились верить в чудеса. И вот очередные полчаса она стала посвящать чтению сказок.

Тут с Туляречито произошла перемена. Сперва мисс Морган читала об эльфах и домовых, о проделках фей и волшебников. Туляречито заинтересовался, он даже отложил рисунок, и всегда занятый работой карандаш праздно лежал у него на ладони. Потом мисс Морган начала читать о гномах, об их нравах и обычаях. Туляречито выронил карандаш и вытянул шею, чтобы не пропустить ни слова.

После работы мисс Морган шла пешком до фермы, где снимала комнату. Ей нравилось идти по безлюдной дороге, сбивая головки чертополоха прутом. Она радовалась, когда ей удавалось вспугнуть камнем перепела и тот с криком взлетал вверх. Ей хотелось завести собаку — любознательного, резвого пса, он делил бы с нею все ее захватывающие приключения. Он понимал бы тайный, колдовской смысл вырытых в земле нор, магию звериных следов, странных и печальных птичьих криков и таинственных, бодрящих запахов земли.

Как-то днем мисс Морган забралась на меловой холм, чтобы вырезать свои инициалы на его белом боку. Карабкаясь по склону, она до крови поранила о колючку палец. Вместо инициалов она выцарапала: «Здесь я оставила частицу себя» — и приложила свой кровоточащий палец к пористой меловой поверхности скалы.

Вечером она писала одному из своих друзей: «Когда у человека есть все необходимое, главным для него становится стремление оставить память о себе, какое-нибудь доказательство того, что он действительно существовал на свете. Эти доказательства мы запечатлеваем либо на камне или дереве, либо в судьбах других людей. Это стремление глубоко сидит в каждом из нас — от мальчишки, который пишет непристойности на стенах общественной уборной, до Будды, оставившего свой образ в сознании целых народов. Жизнь так нереальна. По-моему, мы сомневаемся всерьез, существуем ли мы на самом деле, и всеми способами пытаемся доказать себе и другим — да, существуем».

Копию письма она сохранила.

В тот день, когда она читала школьникам про гномов, мисс Морган, как всегда, шла в одиночестве домой. Вдруг трава у обочины зашевелилась,

и из нее возникла голова Туляречито.

— Ой! Как ты меня испугал! — воскликнула мисс Морган. — Разве так можно?

Туляречито встал. Он робко улыбался и от смущения похлопывал шляпой по бедру. Вдруг мисс Морган испугалась, ее захлестнула волна страха. На дороге так пустынно, а ей уже не раз приходилось слышать о выходках сумасшедших. Собравшись с духом, она дрожащим голосом произнесла:

— Что… что тебе надо?

Туляречито улыбнулся еще шире и еще сильнее стал хлопать себя по бедру.

— Ты что, просто так здесь лежал, или тебе что-нибудь надо?

Мальчик пытался что-то сказать, но не сумел и снова беззащитно улыбнулся.

— Ну, если тебе ничего не нужно, я пойду.

Она и вправду уже приготовилась к бегству.

Туляречито снова попытался заговорить.

— Про этих… ну, про человечков…

— Про каких еще человечков? — резко спросила она.

— Ну, которые в книжке…

Мисс Морган с облегчением рассмеялась, ощущая, что ее волосы уже не стоят дыбом.

— Ах, ты о… об этих, как их?.. гномах?

Туляречито кивнул.

— А что бы ты хотел о них узнать?

— Я их никогда не видел, — сказал Туляречито. Говорил он монотонно, без всякого выражения в голосе.

— Ну, знаешь, я думаю, их мало кто видел.

— Но я о них знал.

Мисс Морган с любопытством на него посмотрела.

— Правда? Кто же тебе о них рассказал?

— Никто.

— Ты сам их никогда не видел, и никто тебе о них не рассказывал? Откуда же ты о них знаешь?

— Знаю, и все. Может, я их слышал. В книжке про них написано, это точно. Я узнал их.

«Почему я должна мешать этому несчастному мальчугану верить в гномов? Не станет ли его жизнь счастливей и богаче, если он будет в них верить? Что в этом, в сущности, плохого?» — подумала мисс Морган.

— А ты когда-нибудь пробовал их найти?

— Нет, никогда. Я просто знал, что они есть. А теперь я буду их искать.

Тут мисс Морган решила, что все складывается

просто великолепно. Перед нею чистый лист бумаги, скала, на которой можно изваять все, что угодно! Судьба предоставила ей возможность создать чудесную историю, которая будет гораздо правдивее тех, что рассказаны в книгах.

— Как же ты будешь их искать? — спросила она.

— Я буду рыть норы, — степенно сообщил Туляречито.

— Но ведь гномы выходят только по ночам, Туляречито. Тебе придется караулить их ночью. И как только ты увидишь хоть одного, ты придешь и расскажешь мне, ладно?

— Хорошо, — пообещал он.

Она ушла, чувствуя на себе его взгляд. Всю дорогу она себе представляла, как Туляречито темной ночью ищет гномов. И картина эта льстила ее самолюбию. Может быть, он их найдет и в самом деле? Может быть, он будет жить среди них, с ними разговаривать? Вот ведь стоило ей только намекнуть этому мальчику на возможность чуда, и она сразу превратила его жизнь в чудесную сказку, такую далекую от бессмысленного существования других людей. Теперь она даже завидовала ему.

Вечером Туляречито надел пиджак и взял лопа-

ту. Старый Панчо попался ему навстречу, когда он выходил из сарая.

— Куда собрался, Лягушонок? — спросил он.

Туляречито беспокойно переминался с ноги на ногу. — Иду, и все. Впервой мне, что ли, на ночь глядя?.. — А лопату зачем взял? Может, золото ищешь? — Лицо мальчика стало серьезным.

— Я иду копать лазы к маленьким человечкам, которые живут под землей.

Тут Панчо забеспокоился, его охватил ужас.

— Не ходи, Лягушонок! Послушай ты меня, своего старого друга, своего крестного отца, не ходи! Ведь это я нашел тебя в кустах полыни, это я спас тебя от чертей. Теперь ты — христианин. Не ходи ты к своим родственникам! Послушайся старика, Лягушонок!

Туляречито стоял, потупившись, он пытался переварить эти новые для него сведения.

— Ты должен был сказать мне, что они мои родственники! — крикнул он. — Я не такой, как все. Я одинокий без моего народа, а они живут глубоко в сырой земле. Когда я прохожу мимо беличьего дупла, мне хочется там спрятаться. Мой народ, они как я, и они меня зовут. Мне надо вернуться домой, Панчо.

Панчо отступил на шаг и поднял скрещенные

пальцы.

— Тогда отправляйся к своим родственникам, отправляйся к чертям. Я не могу воевать с дьяволом, я не святой. Но смотри! Я поднимаю крест против тебя и против всего вашего отродья!

И Панчо осенил его крестом.

Туляречито грустно улыбнулся и зашагал прочь.

Его сердце прыгало в груди от радости — он возвращался домой. Всю жизнь он был парией, одиноким и чужим для всех этих людей, а теперь он шел домой. Как всегда, он слышал голоса земли — где-то вдалеке паслись коровы, и их колокольчики тихо позвякивали, квохтал потревоженный перепел, тихо повизгивал койот, — этой ночью ему не придется петь свои песни, стрекот тысяч насекомых сливался в единую симфонию. Но не это интересовало сейчас Туляречито: он хотел услышать тихие голоса подземного парода.

Один раз он остановился и позвал:

— Отец! Я вернулся, — но ответа не было.

Он заглядывал в беличьи дупла и шептал:

— Эй, гномы, где вы? Не бойтесь, это я, Туляречито. Я вернулся.

Но ответа не было. Мало того, он и не чувствовал, чтобы где-то поблизости были гномы.

Туляречито знал, что где-то тут, совсем рядом пасутся олень с оленихой, знал, что за кустом стоит в засаде, поджидая кроликов, дикая кошка. Все это он чувствовал, хотя и не видел. А вот гномы не подавали никаких признаков жизни.

Из-за гор вышла полная сахарная луна.

— Сейчас звери выйдут на охоту, — тихим шепотом, почти как безумный, произнес Туляречито, — тогда и мой народ появится.

На краю ложбины заросли обрывались. Дальше начинался фруктовый сад — массивные зеленые кроны деревьев. Это был сад Берта Мэнро. Когда усадьба стояла заброшенная — тогда здесь водились черти, — Туляречито частенько приходил сюда по вечерам, лежал под деревом, глядя на звездное небо, и своими нежными пальцами перебирал звезды. Войдя в сад, он понял, что где-то здесь, совсем рядом, живут гномы. Он еще не слышал их, но знал, что они тут. Он стал звать их, но они не появлялись.

— Может, им не нравится, что сейчас так светло, — сказал он, глядя на полную, яркую луну.

Под большим персиковым деревом Туляречито вырыл нору — очень глубокую и довольно широкую, в три фута шириной. Он работал всю ночь, останавливаясь на минутку лишь для того,

чтобы послушать, не появились ли гномы. Он ничего не слышал, но был уверен, что они где-то рядом. На рассвете он бросил работу, забрался в кусты и уснул.

После завтрака Берт Мэнро вышел проверить капкан, — он недавно поставил капкан на койота, — и обнаружил под деревом нору.

— Что за черт! — буркнул он. Потом сообразил: — Наверно, ребятишки роют туннель. Но это же опасно! Вдруг их засыплет, или кто-нибудь свалится в яму и сломает ногу?

Он вернулся в дом, взял лопату и забросал нору землей.

— Мэнни, — спросил он у младшего сына, — это не ты вырыл яму в саду?

— Э-а! — сказал Мэнни.

— А не знаешь, кто?

— Э-а! — сказал Мэнни.

— Понимаешь, кто-то вырыл глубокую яму. Это опасно. Скажи ребятам, чтоб не копали, а то их засыплет.

Спустилась ночь. Туляречито проснулся и вылез из кустов. Увидев, что ямы нет и труды его пропали даром, он зарычал как зверь, но потом подумал и даже рассмеялся.

— Они тут были, — решил он. — Они не знали,

кто вырыл яму, испугались и снова зарыли ее. Сурки тоже так делают. А вот теперь я спрячусь, и когда гномы придут зарывать нору, я им скажу, кто я такой. И тогда они возьмут меня к себе.

Туляречито снова принялся копать и вырыл нору еще глубже вчерашней, потому что земля была уже рыхлая. Перед самым восходом солнца он спрятался в кустах и стал наблюдать.

Перед завтраком Берт Мэнро снова вышел посмотреть капкан и опять наткнулся на яму.

— Вот черти! — выругался он. — Неймется им… Нет, без Мэнни здесь не обошлось!

Он осмотрел яму и стал сбрасывать в нее землю ногой. Дикий крик, похожий на рычанье зверя, заставил его обернуться. По-лягушачьи подпрыгивая на своих длинных ногах и размахивая лопатой, на него шел Туляречито.

Когда Джимми вышел позвать отца к столу, он оторопел. Берт Мэнро лежал на куче земли с разбитой головой. По его подбородку текла кровь. Из ямы кто-то полными лопатами выбрасывал землю.

Джимми решил, что этот человек убил его отца и собирается теперь зарыть тело. Одурев от страха, он бросился в дом и стал обзванивать соседей.

Сбежалось полдюжины мужиков. Туляречито сражался как раненый лев и сопротивлялся до тех пор, пока его не стукнули по голове его же собственной лопатой. Тогда его связали и отправили в тюрьму.

В Салинасе мальчика обследовала медицинская комиссия. Когда врачи задавали ему разные вопросы, он смущенно улыбался и ничего не отвечал. Франклин Гомес рассказал комиссии все, что знал о нем, и просил оформить его опекуном.

— Поверьте, мистер Гомес, это невозможно, — сказал в конце концов судья. — Вы говорите — он добрый мальчик. Но вчера он пытался убить человека. Поймите, мы никак не можем оставить его на свободе. Рано или поздно, он опять на кого-нибудь кинется.

Поразмыслив, судья решил отправить Туляречито в Напу, в сумасшедший дом для преступников.

V

Элен Ван Девентер была высокая женщина с правильным, красивым лицом и трагическими глазами. Всю свою жизнь она воспринимала как одну большую трагедию. Кто-то отравил ее персидского котенка, и Элси — ей тогда было пятнадцать лет — выглядела безутешной вдовой. Она оплакивала его в продолжение шести месяцев — не напоказ, а сдержанно, тихо. Когда умер ее отец, — а умер он шесть месяцев спустя после смерти котенка, — она просто продолжала горевать. Казалось, она жаждет трагедий, и жизнь обильно снабжала ее ими.

Двадцати пяти лет она вышла замуж за Хьюберта Ван Девентера, румяного, жизнерадостного мужчину, заядлого охотника. Шесть месяцев в году он проводил, преследуя какое-нибудь несчастное четвероногое с намерением всадить в него пулю. Через три месяца после свадьбы он самым нелепым образом всадил пулю в себя, запутавшись в кустах куманики. Хьюберт был человеком изысканных вкусов. Когда он лежал под деревом и умирал, его друг спросил, не хочет

ли он передать что-нибудь жене.

— Хочу, — сказал Хьюберт. — Скажите ей, чтобы она набила из меня чучело и поставила в библиотеке между лосем и снежным козлом. Скажите, что уж этот экспонат я не купил у лесника.

Элен Ван Девентер заперла гостиную со всеми находившимися в ней трофеями. С тех пор комната целиком принадлежала духу покойного Хьюберта. Шторы на окнах всегда оставались опущенными. В гостиной говорили только шепотом и только в случае крайней необходимости. После смерти мужа Элен не рыдала — это было не в ее натуре, — просто глаза ее стали еще огромней, и она подолгу смотрела в одну точку отсутствующим взглядом, будто пребывала в иных мирах. Хьюберт оставил ей дом на Рашн Хилл в Сан-Франциско и весьма солидное состояние.

Через шесть месяцев после того, как погиб Хьюберт, у нее родилась дочь Хильда, прелестный, похожий на куклу ребенок с огромными, как у матери, глазами. Хильда почти всегда была нездорова, она с пугающей поспешностью переболела всеми детскими болезнями. Характер девочки стал проявляться с первых же дней ее жизни: лежа в колыбельке, она заливалась нескончаемым плачем, а научившись ходить, обрела страсть к

разрушению. Если она была не в духе, она била вдребезги все, что можно разбить. Элен Ван Девентер никогда не наказывала ее за эти выходки — напротив, обходилась с ней еще ласковее, чем обычно, в результате чего разрушительные наклонности Хильды становились все сильнее.

Когда Хильде исполнилось шесть лет, доктор Филлипс, домашний врач, сказал миссис Ван Девентер то, о чем она уже давно догадывалась.

— Поймите, — сказал он, — Хильда не вполне нормальна. Я считаю, что ее необходимо показать психиатру.

Темные глаза матери страдальчески расширились.

— Вы уверены, доктор?

— Абсолютно уверен. Я не специалист. Вам надо показать ее кому-то более компетентному в этих вопросах.

Элен смотрела в сторону.

— Я думала об этом, доктор, но я не могу обратиться к другому врачу. Ведь вы всегда нас лечили. Я вас знаю. И никогда не смогу довериться другому доктору.

— Что значит «довериться»? — вспыхнул доктор Филлипс. — Поймите, ее можно вылечить, но нужен правильный подход.

Элен чуть приподняла руки и тут же горестно их уронила.

— Она никогда не будет совсем здорова, доктор. Она родилась в плохое время. Смерть отца — это такой удар… Вы же понимаете — у меня просто не было сил ее выносить.

— Так что ж вы собираетесь делать? Позвольте заметить — вы рассуждаете довольно неумно.

— А что мне остается делать, доктор? Я могу только надеяться и ждать. Я понимаю, ее следовало бы показать психиатру. Я все понимаю, но доверить ее другому врачу не могу. Я буду ухаживать за ней, я буду о ней заботиться, в этом теперь смысл всей моей жизни.

Она печально улыбнулась и страдальчески развела руками.

— А вам не кажется, что вы сами себе придумываете мучения? — раздраженно сказал врач.

— От судьбы не уйдешь. Я умею терпеть. В этом я уверена и горжусь этим. Как бы тяжел ни был крест, я все стерплю. Лишь одного я не перенесу, доктор. Хильду нельзя забрать от меня. Она должна оставаться со мной, а вы, как прежде, будете навещать нас, и никто другой пусть не вмешивается.

Доктор Филлипс покинул дом с тяжелым и

неприязненным чувством. Бессмысленное многотерпение этой женщины приводило его в ярость. «Если бы я был Паркой, — думал он, — меня и тогда бы мучило желание сокрушить ее упрямство».

Вскоре после визита доктора у Хильды появились галлюцинации и кошмары. Жуткие твари, когтистые и клыкастые, кидались на нее во сне и пытались убить. Какие-то маленькие уродцы щипали ее и скрипели зубами прямо у нее над ухом. Элен Ван Девентер увидела в этом новое испытание, которому подвергала ее судьба.

Утром Хильда просыпалась в слезах и жаловалась:

— Приходил тигр, он стащил с меня одеяло.

— Не бойся его, милая.

— Но он хотел прокусить мое одеяло, мама.

— Сегодня ночью я посижу с тобой, моя родная. Он испугается и не придет.

Теперь она стала проводить целые ночи возле кроватки своей девочки. Сознание собственного подвижничества наложило на нее отпечаток: еще ярче горели теперь ее глаза; в них появился лихорадочный блеск.

Но сильней ночных кошмаров волновало ее то, что Хильда стала сочинять небылицы.

— Сегодня утром я вышла в сад, мама. На улице сидел старик. Он позвал меня к себе домой, и я пошла. У него был большой золотой слон, и он позволил мне на нем покататься.

Рассказывая все это, девочка отрешенно глядела в пространство.

— Не надо говорить неправду, — умоляла мать. — Ты же знаешь, ничего такого не было.

— Нет, было, мама. И старик дал мне часы. Я сейчас покажу. Вот, — и она протянула украшенные бриллиантами ручные часики.

Руки Элен тряслись от страха. На какой-то миг выражение стойкого терпения на ее лице сменилось гневным.

— Где ты их взяла, Хильда?

— Это старик мне дал их, мама.

— Да нет, скажи мне, где ты их нашла! Ты же их нашла, да?

— Нет, мне их дал старик.

На крышке часов была выгравирована монограмма — инициалы, незнакомые Элен. Она бессмысленно рассматривала буквы.

— Мама возьмет их себе, — сказала она резко.

Ночью она крадучись вышла в сад и совком закопала часы. За неделю вокруг сада возвели высокую металлическую ограду, и с тех пор Хильде

запрещено было выходить одной.

Когда Хильде исполнилось тринадцать лет, она убежала из дома. Элен наняла частных детективов, но на четвертый день Хильду обнаружил полицейский. Она спала в пустой конторе по продаже недвижимости в Лос-Анжелесе. Элен забрала дочь из полицейского участка.

— Родная моя, почему ты сбежала? — спросила она.

— Ну, мне захотелось поиграть на пианино.

— Но у нас же есть пианино. Почему ты не поиграла на нем?

— Мне хотелось поиграть на другом, на большом пианино.

Элен посадила Хильду к себе на колени и крепко обняла ее.

— И что же ты сделала, дорогая?

— Я вышла на улицу, и какой-то мужчина позвал меня с ним покататься. Он дал мне пять долларов. Потом я встретила цыган и немножко пожила у них. Они сделали меня своей королевой. Потом я вышла замуж за молодого цыгана, и мы уже собирались родить ребеночка, но тут я устала и села. А потом меня взял к себе полицейский.

— Милая моя, бедненькая моя, — говорила Элен, — ты же знаешь, все это неправда. Ничего

этого не было.

— Нет, было, мама.

Элен позвала доктора Филлипса.

— Она говорит, что была замужем за цыганом. Вы не думаете… вы не думаете, что она способна на такое? Я этого не перенесу.

Доктор внимательно осмотрел девочку. Закончив осмотр, он сказал со злостью:

— Я уже говорил вам — ее должен вести специалист. — Он подошел к девочке. — Скажи, Хильда, к тебе приходила недавно старуха? Такая мерзкая, старая карга?

Руки Хильды судорожно дернулись.

— Да, она приходила прошлой ночью и привела с собой обезьяну. Большую такую обезьяну, прямо огромную. И еще она хотела меня укусить.

— Так вот, запомни: ничего плохого она тебе теперь не сделает. Теперь я сам буду присматривать за тобой. Эта старуха меня боится. Если она опять придет, ты только ей скажи, что я всегда за тобой наблюдаю. Увидишь, как она сейчас же убежит, только пятки засверкают!

Девочка устало улыбнулась.

— И обезьяна тоже?

— Конечно. Может, я еще что-нибудь придумаю, а пока вот тебе леденец для твоей до-

чурки. — Он достал из кармана пачку мятных леденцов. — Дай-ка их своей Баббете, ведь ее так зовут, правда?

Хильда схватила конфеты и выбежала из комнаты.

— Так вот, — обратился доктор к Элен, — к сожалению, мне не хватает ни опыта, ни знаний, чтобы вылечить Хильду, но у меня достаточно и того и другого, чтобы верно судить о ее состоянии. Сейчас Хильде значительно хуже. У нее наступил период полового созревания. Это время перемен. Ее переполняют эмоции. Ее душевная болезнь может начать прогрессировать самым неожиданным образом, и не берусь предсказать, чем это обернется. Может, возникнет тяга к самоубийству, или наоборот — она сбежит с первым попавшимся мужчиной. Словом, если вы не обратитесь к специалисту, если вы не начнете серьезно ее лечить, может статься, вы сильно пожалеете об этом. Ее последняя выходка только предвестник будущих. Продолжаться так больше не может. Вы не выдержите.

Элен сидела перед ним неподвижно. Ее лицо выражало упорство, приводившее доктора в ярость.

— Так что ж вы предлагаете? — спросила она

осипшим голосом.

— Отправить ее в лечебницу для душевнобольных, — сказал он. И ему самому понравилось, что он ответил так грубо.

Лицо ее стало еще более жестким. Непреклонное упорство отразилось на нем.

— Этого я не сделаю! — крикнула она. — Она моя, и я за нее отвечаю. Я всегда буду с ней, доктор. Я глаз с нее не спущу. Но она останется со мной.

— Каковы будут последствия, вам известно, — сказал он резко. Доктор чувствовал, что он бессилен убедить эту женщину, и это сердило его. — Элен, вот уже многие годы я ваш друг. Что заставляет вас так рисковать и взваливать на себя такие страдания?

— Я все выдержу, только пусть она будет со мной.

— Вам бы власяницу носить, — проворчал он. — Я вижу, вам просто доставляет удовольствие мучиться. Вам непременно нужно превратить жизнь в трагедию и ни капельки из этой трагедии не упустить. — Он был в бешенстве. — Элен, в жизни каждого мужчины бывают такие минуты, когда ему хочется ударить женщину. Я всегда считал себя человеком мягким, но теперь я с удовольствием бы вам вмазал. — Он всмотрелся в

ее темные глаза и увидел в них лишь готовность терпеть, вытерпеть и эту новую трагедию. — Я ухожу, — сказал он. — Больше не вызывайте меня. Потому что… я начинаю вас ненавидеть.

* * *

Узнав, что у них в долине хочет поселиться богатая дама, жители Райских Пастбищ отнеслись к этому известию с недоброжелательным интересом. Не без иронии наблюдали они, как въезжают в Кристмас Кэньон грузовики с бревнами и досками. Они посмеивались над этими явно дорогостоящими хлопотами. Берт Мэнро поднялся в Кристмас Кэньон и полдня смотрел, как возводят дом плотники.

— Красивый, должно быть, домик получится, — рассказывал он потом в лавке. — Бревна отличные. И, знаете, там уже садовники работают. Сажают деревья — не саженцы, а настоящие большие деревья в цвету. Эта миссис Ван Девентер, видно, богатая.

— Это уж они хватили через край, — согласился Пэт Хамберт. — Им, богачам, только бы повыпендриваться, это точно.

— А вы дальше послушайте, — продолжал Берт. — Это уж… ну, совершенно по-дамски! Ни

за что не угадаете, что там присобачили к некоторым окнам — решетки! Не железные, а такие большие, толстые дубовые решетки. Наверно, старая леди боится койотов.

— Интересно, много ли она притащит с собой слуг, — задумчиво произнес Т. Б. Аллен. — Хотя, боюсь, покупки она будет делать в городе. Такие люди всегда делают покупки в городе.

Когда дом был построен и сад приведен в надлежащий вид, Элен Ван Девентер и Хильда, повар-китаец и слуга-филиппинец подъехали к Кристмас Кэньон. Плотники пропитали бревна специальным раствором, предохраняющим от гниения, а садовники приложили все усилия, чтобы сад выглядел старым. Они оставили в неприкосновенности кусты лавра и дубы, а под ними высадили алые, белые и голубые цинерарии. Вдоль дорожек цвели лобелии удивительного голубого цвета.

Повар и слуга сразу поспешили по своим делам, а Элен взяла за руку Хильду и повела ее гулять в сад.

— Ну, разве это не прекрасно! — восклицала Элен. Ее лицо даже немного повеселело. — Как ты думаешь, моя хорошая, нам понравится здесь?

Хильда выдернула из земли цинерарию и

хлестнула цветком по стволу дуба.

— Дома лучше.

— Но почему, дорогая моя? В городе ведь нет таких прелестных цветов и таких деревьев. А, кроме того, здесь мы можем каждый день ходить гулять в горы.

— Нет, мне больше нравится дома.

— Но почему, дорогая моя?

— Там все мои друзья, вот почему. Там я могла смотреть через забор, как мимо идут люди.

— И все-таки, когда ты привыкнешь, Хильда, здесь тебе понравится больше.

— Нет, не понравится. Мне никогда не понравится здесь.

Хильда расплакалась, а потом, безо всякого перехода, стала злобно вопить. Неожиданно она схватила палку и ударила мать. Сзади бесшумно возник слуга, связал ей руки и потащил ее в дом. Девочка брыкалась и отчаянно вопила.

У себя в комнате Хильда принялась методически ломать мебель. Разодрала подушки, и по комнате полетели перья. Потом она разбила окно, высадила рамы, билась о дубовые решетки и визжала от ярости. Элен сидела в своей комнате с плотно сжатыми губами. Один раз она было встала, чтобы пойти к Хильде, но снова рухнула в

кресло. Был такой момент, когда ее терпение чуть не лопнуло… но нет, запас его не только не иссяк, но, кажется, еще возрос. Визг, доносившийся из комнаты Хильды, на нее не действовал. Слуга бесшумно вошел в комнату Элен.

— Опустить жалюзи, хозяйка? — спросил он.

— Нет, не надо, Джо. До ближайшего жилья далеко. Никто не услышит.

Берт Мэнро видел, как автомобиль с новоселами проехал по направлению к Кристмас Кэньон, к деревянному дому.

— Одинокой женщине трудно начинать жизнь на новом месте, — сказал он жене. — Думаю, мне надо бы сходить к ним и узнать, не нужна ли помощь.

— Любопытство замучило, — поддразнила его жена.

— Ладно. Если ты так думаешь, я не пойду.

— Да я ведь просто так, — ответила она. — Я думаю, ты поступаешь по-соседски. Как-нибудь мы вместе с миссис Уайтсайд тоже к ним заглянем. Да, наверно, нам надо бы туда заглянуть. Ну, а пока сходи, посмотри, как они там устроились.

Он зашагал по берегу весело журчащего ручья, который тек по дну Кристмас Кэньон.

«Овощи тут не вырастут, — рассуждал он сам с

собой, — но место очень славное. И я мог бы жить в таком вот уголке — просто жить и все, — если б война не кончилась так неожиданно».

И, как всегда, ему стало стыдно за эти мысли о войне.

Когда до усадьбы оставалось примерно четверть мили, он услышал вопли Хильды.

«Что за черт? — пробормотал он. — Похоже, там кого-то режут». И Берт прибавил шагу.

Зарешеченное окно Хильды выходило на тропинку, которая вела к воротам. Берт увидел девочку, прижавшуюся к решетке, с безумными от гнева и ужаса глазами.

— Привет! — сказал он. — Что стряслось? За что это тебя тут заперли?

Хильда прищурилась.

— Они морят меня голодом, — сказала она. — Они хотят, чтобы я умерла.

— Глупости какие, — сказал Берт. — Кому это надо, чтоб ты умерла?

— Это все из-за денег, — сообщила она. — Пока я не умру, они не получат мои деньги.

— Как же это, ты ведь еще совсем маленькая.

— Я не маленькая, — угрюмо ответила Хильда. — Я взрослая женщина. Я выгляжу маленькой, потому что они морят меня голодом и бьют.

Берт помрачнел.

— Ну, это мы сейчас выясним, — сказал он.

— Ой, только не говорите им ничего! Лучше помогите мне отсюда выбраться, тогда я получу свои деньги и выйду за вас замуж.

Тут Берт впервые заподозрил, что девочка не совсем нормальна.

— Конечно, я тебе помогу. — Он говорил сочувственно, мягко. — Только подожди немного, я непременно тебе помогу.

Он подошел к входной двери и постучал. Дверь почти тут же приоткрылась. На пороге стоял слуга и смотрел на него с неприязнью.

— Могу я видеть хозяйку дома? — спросил Берт.

— Нет, — сказал слуга и захлопнул дверь.

Берт вспыхнул от стыда за свою неудачу и опять, теперь уж довольно сердито постучал в дверь. Дверь снова чуть-чуть приоткрылась, за ней мелькнули черные глаза.

— А я вам повторяю: я хочу видеть хозяйку. Я хочу с ней поговорить о девочке, которая заперта в доме.

— Хозяйка очень плохо. Прошу, извините, — сказал слуга.

Он снова закрыл дверь. На сей раз Берт услы-

шал, как опустилась щеколда. Он побрел прочь.

«Скажу жене, чтобы ноги ее там не было, — решил он. — Девчонка чокнутая, а слуга этот — хам. Да катись они все к чертовой матери!»

Элен крикнула из спальни:

— Джо, что там такое?

В дверях появился слуга.

— Человек приходил. Говорит, пришел вас видеть. Я сказал — вы плохо.

— Правильно. А кто он? Он сказал, зачем я ему нужна?

— Моя не знает. Он сказать, пришел видеть вас насчет молодой хозяйка.

Элен мгновенно оказалась у дверей. Ее лицо пылало от гнева.

— Что он хотел? Кто он такой?

— Моя не знает, хозяйка.

— И ты его выпроводил! Совсем распустился. Пошел вон!

Она снова упала в кресло и закрыла глаза.

— Хорошо, хозяйка. — Джо уже собирался уходить.

— Эй, Джо, иди сюда! — Он вернулся и стоял позади ее кресла, пока она не открыла глаза. — Прости меня, Джо. Я сама не знаю, что говорю. Ты все сделал правильно. Ты останешься у меня,

правда?

— Да, хозяйка.

Элен встала и торопливо подошла к окну.

— Сама не знаю, что со мной сегодня творится. Мисс Хильда успокоилась?

— Да, молодая хозяйка теперь хорошо.

— Ладно, разожги, пожалуйста, огонь в камине. Там, в гостиной… А потом, чуть погодя, приведи ее ко мне.

Элен сделала из своей гостиной некое подобие памятника покойному супругу. Она придала ей вид охотничьего домика. Это была большая комната, отделанная панелями и балками из красного дерева. Оленьи морды всех родов и мастей высовывали между ними свои любопытные носы. Одну из стен целиком занимал огромный, сложенный из неотесанных камней камин, над которым висел рваный французский боевой флаг, где-то найденный Хьюбертом. Ружья Хьюберта хранились в запертом ящике со стеклянной крышкой, каждое в своем гнезде. Элен казалось, что, пока она может здесь уединиться, муж не окончательно для нее потерян.

На Рашн Хилл она проводила в кабинете, грезя наяву, весьма приятные часы. И ей хотелось, чтобы это и здесь продолжалось. Она создала

целый обряд, с помощью которого ей удавалось материализовать свою мечту. Элен садилась перед горящим камином, сложив на коленях руки. Затем она подолгу останавливала взгляд на каждом трофее, всякий раз повторяя: «Хьюберт касался тебя рукой». В конце концов перед ней появлялось видение мужа. Она почти ощущала его рядом с собой. В своем воображении Элен могла до мельчайших деталей представить его себе: руки, узкие бедра и длинные ноги. Потом она вспоминала, как он произносил слова, все его интонации, вспоминала, как лицо его то вспыхивало, то бледнело, когда он чем-то был взволнован. Она вспоминала, как он водил гостей от одного трофея к другому: перед каждым муляжем или чучелом Хьюберт останавливался, покачиваясь с пятки на носок и заложив руки за спину, и подробно, не упуская ни единой мелочи, рассказывал, как он убил этого зверя.

— Луна спряталась. Вокруг никаких признаков жизни. Фред, мой лесник, говорит: «Ничего нам сегодня не светит». Помнится, в то утро нам здорово не везло. Но вот, знаете, не покидало меня это ощущение — надо бы еще побродить, посмотреть, может, что обломится.

В эти минуты Элен словно наяву слышала, как

он рассказывает свои истории — дурацкие, пустые истории, всегда кончавшиеся одинаково:

— Ну, расстояние было порядочное. Ветер дул слева и притом дьявольски сильно, но я как-то пристроился. Я еще подумал: «А, все равно, ничего не выйдет, ну и черт с ним, промажу так промажу». Так что мне, можно считать, просто повезло.

Хьюберту вовсе не хотелось, чтобы слушатели думали, что ему и в самом деле «просто повезло». Это был некий изящный жест, долженствующий показать его спортивную честность и скромность. Элен никак не могла понять, почему спортсмен не может признаться в том, что он умеет что-то делать хорошо.

Так она грезила. По кусочкам лепила в своем воображении его образ, и вот он уже заполнял всю комнату, неся с собой всепокоряющую энергию великого охотника. И наконец, завершив всю картину, Элен ее уничтожала. Внезапный звонок в дверь звучал тревожно. Перед ее глазами возникали хмурые и растерянные лица его друзей: они рассказывали ей, как все случилось. Грезы прекращались в тот момент, когда в дом вносили его тело. Сокрушительная волна печали наполняла ее грудь. Она бессильно откидывалась

на спинку кресла.

Элен упорно не хотела допустить, чтобы он ушел из ее памяти. Так ей удалось сохранить мужа в мире живых. Замужем она была всего три месяца. Всего три месяца! Ее охватывала безнадежная тоска. Элен понимала, что возбуждает в себе это чувство намеренно, но считала, что Хьюберт это заслужил, она должна его отблагодарить, храня о нем вечную память. Да, она, конечно, должна горевать и тем не менее не поддаваться печали.

Элен продумала заранее, как проведет первую ночь в новом доме. И здесь, в новом загородном доме, где так ярко горят в камине дрова, а их свет отражается в стеклянных глазах животных, она тоже собиралась наслаждаться грезами.

Джо вернулся в спальню.

— Огонь гореть, хозяйка. Моя теперь звать мисс Хильда?

Элен смотрела в окно. С гор спускались сумерки. Вот и летучие мыши судорожно закружили в саду, и перепела подавали голос, потихоньку спускаясь к воде. Где-то далеко за каньоном, возвращаясь на скотный двор, мычали коровы. Нечто новое происходило сейчас с Элен. Ее наполняло незнакомое ей до сих пор чувство

умиротворения и защищенности. Она раскинула руки и вздохнула всей грудью. Джо, стоя в дверях, ждал ответа.

— Что? — сказала Элен. — Мисс Хильда? Нет, не надо. Скоро ужин будет готов. Если Хильда не выйдет к столу, я зайду к ней попозже.

Элен вовсе не хотела видеть Хильду. Она боялась вспугнуть это новое, восхитительное чувство покоя. Ей хотелось сидеть и наслаждаться странным светом сумерек, слушать, как перекликаются в кустах перепела, пробираясь к воде по склону, чтобы напиться до наступления темноты.

Элен накинула на плечи шелковую шаль и вышла в сад. Тишина, казалось, стремительно обрушилась с гор и захватила все ее существо. На газоне она заметила маленького серого кролика с белым хвостиком. Она даже задрожала — такое неожиданное и сильное удовольствие доставило ей это зрелище. Кролик повернул мордочку, с минуту смотрел на нее, а потом стал снова щипать травку. Вдруг Элен почувствовала себя очень счастливой, безрассудно счастливой. Что-то должно произойти — что-то необычайно радостное, яркое, что-то поистине восхитительное. И, повинуясь этому чувству нежданной радости,

она заговорила с кроликом.

— Ешь, пожалуйста, ешь на здоровье эти увядшие цветы. Завтра я посажу для тебя капустку. Ты ведь ее любишь, правда, Питер? А ты знаешь, Питер, что тебя так зовут? Это очень глупо, но всех кроликов зовут Питерами. Знаешь, я уже много лет ни о чем таком и не мечтала. Смешно, правда? А может, грустно? Но теперь я кое-что задумала. Правда, я представления не имею, что такое я задумала, но все равно я сгораю от нетерпения, просто сгораю. Глупо, правда, Питер? — Она немного отошла и помахала кролику рукой. — Я бы на твоем месте ела цинерарии, — сказала она.

Где-то внизу она услышала пение воды и спустилась к ручью. Когда она подошла к берегу, стайка перепелок с испуганным кудахтаньем бросилась в кусты. Элен почувствовала угрызения совести оттого, что нарушила их покой.

— Эй, вернитесь! — позвала она. — Да не буду я стрелять. Вот кролик меня совсем не боится. Даже если б я и захотела поохотиться на вас, все равно бы промахнулась.

Тут она вспомнила, как Хьюберт учил ее стрелять. С благоговейной торжественностью он показывал, как держать ружье, как целиться,

непременно оставляя открытыми оба глаза.

— А теперь я подброшу банку, — говорил он. — Не нужно стрелять по неподвижной цели. Плох тот охотник, который стреляет в сидящую птицу.

И, пока у нее не одеревенело плечо, она стреляла наугад по жестянкам. По дороге домой он похлопал ее по спине.

— Да, в перепелку тебе еще долго не попасть, — сказал он. — Но бить кроликов ты научишься довольно скоро.

Потом она представила себе связки перепелов, которые он приносил домой — привязанные за шеи птицы гроздьями свисали с ременного шнура.

— Когда они подыхают вот так, на ремне, они потом долго не портятся, — торжественно заявил Хьюберт.

И тут вдруг Элен поняла, что ей больше не хочется думать о Хьюберте. Воспоминание о нем чуть не уничтожило ее счастливое чувство умиротворения.

Стемнело. Ночь сладко пахла шалфеем. Она слышала, как повар на кухне зазвонил в коровий колокольчик, который она купила, чтобы созывать всех к обеду. Элен вздрогнула, плотнее закуталась в шаль и направилась к дому.

В столовой ее ждала дочь. На лице Хильды не осталось даже следов утренней яростной вспышки, казалось, она счастлива и весьма довольна собой.

— Дорогая, милая моя! Тебе лучше, верно? — воскликнула Элен.

— Да, мама!

Мать обошла вокруг стола и поцеловала Хильду в лоб. Потом на мгновение она судорожно прижала ее к себе.

— Когда ты увидишь, как тут прекрасно, ты полюбишь наш новый дом. Я уверена, что ты его полюбишь.

Хильда ничего не ответила, но ее глаза стали хитрыми.

— Тебе здесь понравится, правда, моя дорогая? — продолжала допытываться Элен.

Хильда держалась загадочно.

— Может, и понравится. А может быть, и нет.

— О чем ты это, дорогая?

— А может, я и пробуду здесь совсем недолго.

— Пробудешь здесь совсем недолго? — Элси быстро взглянула на дочь.

Видно было, Хильда что-то знает и пытается от нее утаить. У нее на лице это было написано.

— Может, я сбегу и выйду замуж.

Элен откинулась на спинку стула и улыбнулась.

— Ах, вот оно что! Что ж, возможно. Только надо подождать несколько лет. Кто же он на сей раз, дорогая? Снова принц?

— Нет, он не принц. Он бедный человек, но я его люблю. Мы сегодня уже все решили. Он, наверное, придет за мной.

Тут Элен вдруг вспомнила:

— Ах, это тот мужчина, который к нам сегодня заходил?

Хильда вскочила.

— Я тебе больше ничего не скажу! — крикнула она. — Ты не имеешь права меня допрашивать! Подожди, я тебе еще докажу… вот увидишь, не останусь я в этом старом доме.

Она выбежала из комнаты и захлопнула за собой дверь спальни.

Элен позвонила в колокольчик. Явился слуга.

— Джо, скажи мне точно, что говорил тот человек, который к нам сегодня заходил?

— Говорит — зайти узнать насчет маленький девочка.

— А какой он — старый?

— Не старый, хозяйка, и не молодой. Может, он пятьдесят — моя так думал.

Элен вздохнула. Очередная маленькая драма, еще одна из тех историй, которые выдумывает Хильда. Как же она верит в них, бедный ребенок! Элен не торопясь поела, а потом села в гостиной перед камином и лениво начала сбивать угольки с тлеющего полона. Она везде погасила свет. Отблески огня отражались в глазах звериных голов, развешенных по степам. Старая привычка вновь напомнила о себе. Элси поймала себя на том, что снова представляет себе Хьюберта, его руки, узкие бедра, длинные ноги. Но тут она обнаружила нечто новое. Когда она представила себе его руки и принялась восстанавливать в памяти все остальное, она заметила, что руки исчезли. После этого она уже не могла удержать весь его образ целиком в своем воображении — он разваливался. И тут она поняла: он ушел, совсем ушел. Это случилось впервые за много лет. Элен закрыла лицо руками и заплакала, ибо к ней возвратилось чувство покоя. И в то же время — страстного ожидания. Она вытерла глаза и медленно прошлась по комнате. Со снисходительной улыбкой, как посторонний человек, разглядывала она головы животных, будто никогда не слыхала, как погибло каждое из них. Комната выглядела совсем другой, в ней

поселился другой дух. Она подошла к широким окнам и распахнула их. Ночной ветер ворвался в комнату, он омыл ее обнаженные плечи холодом покоя и умиротворения. Элен выглянула в окно и прислушалась. Множество смутных звуков доносилось из сада и с ближайших холмов. «Здесь все переполнено жизнью, — подумала она. — Жизнь просто кипит».

Прислушавшись, она вдруг уловила резкий, скрежещущий звук. Он раздался с другой стороны дома. «Если бы тут жили бобры, я подумала бы, что это бобер подгрызает дерево. Может, это дикобраз грызет фундамент дома. Я слышала, они так делают. Но и дикобразов здесь не водится». Тут весь дом просто ходуном заходил. «Видно, эта тварь взялась за бревна», — произнесла она. Послышался не очень сильный удар, затем все смолкло. Элен тревожно вздрогнула. Она быстро прошла по коридору и остановилась перед дверью в комнату Хильды. Положив руку на задвижку (эта задвижка — довольно крепкая — запирала дверь снаружи), она окликнула Хильду:

— Родная моя, как ты себя чувствуешь?

Ответа не было. Элен тихонько отодвинула засов и вошла в комнату. Одна из дубовых решеток

была выломана. Хильда исчезла.

Некоторое время Элен неподвижно стояла и тоскливо смотрела в открытое окно. Потом щеки ее побледнели, губы сжались — ее лицо приобрело обычное выражение непоколебимого упорства. Она машинально двинулась в гостиную, взобралась на стул, открыла коробку и взяла ружье.

* * *

Доктор Филлипс сидел рядом с Элен Ван Девентер в приемной следователя. Он присутствовал здесь в качестве лечащего врача, кроме того, он считал, что при нем Элен, возможно, будет чувствовать себя спокойней. Впрочем, она не выглядела испуганной. В ее суровом, неистово суровом трауре проступала твердость гранитной скалы, размыть которую бессильно даже море.

— Вы ждали этого? — спросил следователь. — Вы знали, что могло произойти нечто подобное?

Доктор Филлипс неловко взглянул на Элен и откашлялся.

— Я наблюдал ее с самого рождения. Это как раз тот случай, когда человек может убить или себя, или другого, смотря по обстоятельствам. Если бы она кого-нибудь убила, она могла бы жить

потом долгие годы, никому не причиняя вреда и не прибегая больше к насилию. Тут, видите ли, ничего нельзя заранее предсказать.

Следователь подписывал какие-то бумаги.

— Какой чудовищный способ избрала она, чтобы расстаться с жизнью. Конечно, девочка была безумна, искать какие-то мотивы тут бессмысленно. К тому ж мотивы эти могут оказаться весьма деликатного свойства. Но каким все-таки жутким способом она расправилась с собой. Впрочем, она ведь ничего не соображала. Головой в ручей, и рядом ружье… Я уверен: это самоубийство, и я так и напишу. Очень сожалею, что мне приходится говорить все это в вашем присутствии, миссис Ван Девентер. Для вас и так было страшным ударом… наткнуться на нее… в таком виде.

Доктор помог Элен спуститься по лестнице. Они вышли из здания суда.

— Да не переживайте вы так! — воскликнул он. — На вас посмотреть — вас будто на казнь ведут. Говорю вам, все к лучшему. Не надо так переживать.

Она на него даже не взглянула.

— Теперь я знаю. Да, теперь я знаю, в чем мое предназначение, — сказала она тихо. — Я и раньше подозревала об этом, а теперь я знаю

наверняка. И сил у меня хватит, доктор. Я все выдержу. Не беспокойтесь обо мне.

VI

Джуниус Молтби был молод и невысок ростом. Он происходил из хорошей интеллигентной семьи и получил приличное образование. Когда отец его скончался полным банкротом, Джуниус вынужден был занять место секретаря в какой-то конторе, где весьма неохотно проработал десять лет.

Возвращаясь после трудов домой, он взбивал на своем старинном кресле подушки и проводил вечера за чтением. Очерки Стивенсона он считал чуть ли не лучшим из того, что написано в английской литературе: он без конца перечитывал его «Путешествие с ослом».

Однажды вечером — ему тогда только что исполнилось тридцать пять лет, — Джуниус упал в обморок на пороге своего дома. Придя в себя, он впервые заметил, что ему трудно дышать. Джуниусу захотелось узнать, давно ли он болеет. Врач, к которому он обратился, был доброжелателен и даже его обнадежил.

— Дела ваши не так уж плохи, — сказал он. — Но с вашими легкими в Сан-Франциско делать

нечего. Вы и года не протянете среди здешнего тумана и смога. Вам нужен теплый, сухой климат.

Эта внезапно свалившаяся на него болезнь даже обрадовала Джуниуса, ибо сразу рвала узы, связывавшие его с прежней жизнью, — узы, которые он не решался разорвать по собственной воле. У него было пятьсот долларов — денег он не копил, просто еще не успел их истратить.

— С такой суммой, — решил он, — я или выздоровлю и начну новую жизнь, или умру, что окончательно меня избавит от необходимости заниматься бизнесом.

Один из его сослуживцев рассказал ему о Райских Пастбищах — теплой, окруженной горами долине, и Джуниус немедленно отправился туда. Его привлекло название. «Либо это доброе предзнаменование и мне суждено остаться в живых, — размышлял он, — либо всего лишь символическая и прелестная замена смерти». Он чувствовал: это название каким-то образом с ним связано. И это доставляло ему удовольствие, ибо последние десять лет он не находил ничего в этом мире, что имело бы хоть какую-нибудь связь с его особой.

В Райских Пастбищах несколько семейств были готовы принять постояльца. Джуниус посетил их

и остановил свой выбор на ферме вдовы Куокер. Вдова нуждалась в деньгах, а он, в свою очередь, был согласен спать не в доме, а в сарае. У миссис Куокер было двое детей. Кроме того, она держала работника.

Теплый климат благотворно сказался на легких Джуниуса Молтби. Через год он приобрел здоровый цвет лица и прибавил в весе. Он вел спокойную и счастливую жизнь и, что особенно его радовало, до предела обленился и совершенно выбросил из головы предыдущие десять лет своей жизни. Он перестал причесываться, очки держались на самом кончике носа: зрение его улучшилось, и очки он теперь носил, собственно, по привычке. Целый день он разгуливал с веточкой в зубах — тоже неизменная привычка людей ленивых и задумчивых. Он выздоровел в 1910 году.

Год спустя миссис Куокер забеспокоилась, что о ней скажут соседи. Когда ей пришло в голову, что присутствие в ее доме постороннего мужчины может быть истолковано превратно, она стала нервной и раздражительной. И когда Джуниус окончательно выздоровел, вдова сообщила ему о своих опасениях. Он женился на ней с радостью и без промедления. Теперь у него был дом

и безоблачное будущее. Новоиспеченной миссис Молтби принадлежали двести акров лугов и пять акров земли, занятые садом и огородом. Джуниус послал за книгами и своим старым креслом с откидной спинкой, а кроме того, выписал довольно приличную копию «Кардинала» Веласкеса. Будущее представлялось ему приятным солнечным днем.

Миссис Молтби сразу рассчитала работника и попыталась приспособить к делу супруга, но встретила сопротивление, совершенно непреодолимое по той причине, что его вроде как бы и не было — все удары попадали в пустоту. Выздоравливая, Джуниус полюбил безделье. Он любил и долину, и свою ферму, но любил их в первозданном виде. Он совершенно не собирался что-нибудь сажать или, наоборот, выкорчевывать. Если миссис Молтби вручала ему лопату и отправляла в огород, несколько часов спустя — уж будьте уверены — она обнаруживала его где-нибудь на лугу, где он сидел, меланхолично свесив ноги в ручеек и листая книжку под названием «Похищение».

Тут он начинал просить прощения; в общем-то он и сам не понимал, как все это получилось. Но все неизменно получалось именно так.

Поначалу жена ворчала на него за лень и неряшливость, но довольно скоро он научился пропускать мимо ушей все, что она говорила. Просто невежливо, считал он, замечать ее, когда она ведет себя не как леди. Это все равно, что пялиться на калеку. И миссис Молтби, так и не сумев перебороть его лень, спустя некоторое время сама перестала следить за собою. Теперь она часто плакала.

За последующие шесть лет Молтби сильно обеднели. Джуниусу просто-напросто было плевать на ферму. Им пришлось продать несколько акров лугов, чтобы купить продуктов и кое-что из одежды, но даже после этого они жили голодновато. Нищета оседлала ферму, семья Молтби ходила в отрепьях. У них не было приличной одежды, зато Джуниус открыл для себя статьи Дэвида Грейсона. Его единственной и постоянной одеждой был рабочий комбинезон; он проводил все время, сидя у ручья под платанами и предаваясь размышлениям. Иногда он читал жене и сыновьям очерки Стивенсона.

В начале 1917 года миссис Молтби поняла, что ждет ребенка, а в конце года, когда началась война, эпидемия инфлюэнцы нанесла их семье злобный, хладнокровный удар. Оба мальчика

слегли в один день оттого, как видно, что постоянно недоедали. В течение трех дней болезнь, казалось, просто захлестнула дом. Ребятишки метались в жару и лихорадке. Они нервно теребили края одеял, словно цеплялись таким образом за жизнь. Три дня они сопротивлялись болезни, на четвертый мальчиков не стало. Мать не знала этого, — она в это время рожала, а у соседей, которые пришли помочь по дому, не хватило смелости, а возможно, жестокости, чтобы сообщить ей об этом. Когда она рожала, ее била свирепая лихорадка. Она умерла, так и не успев увидеть новорожденного.

Соседки, которые помогали при родах, рассказывали, что Джуниус Молтби сидел возле ручья и читал книгу, пока его жена и дети умирали. Но это было верно лишь отчасти. В тот день, когда умерли оба мальчика, Джуниус действительно сидел у ручья, болтая в воде ногами, — он просто не знал, что они заболели. Потом, когда он понял, что случилось, он был как в тумане: метался от одного к другому и нес какую-то чепуху. Старшему мальчику он рассказывал, как делаются бриллианты. Другому принялся объяснять красоту, происхождение и символику свастики. Один из мальчиков умер, пока он читал вслух вторую

главу «Острова сокровищ», и он даже не заметил, что это случилось, пока не дочитал главу до конца и не поднял глаза. Все эти дни он был как помешанный. Он приносил им то немногое, что, по его мнению, могло скрасить их последние часы, но у них не было сил бороться со смертью. Он понимал это, и ему становилось совсем жутко.

Когда их похоронили, Джуниус снова пошел к ручью и прочитал несколько страниц из «Путешествия с ослом». Он тихо посмеялся над упрямством Модестины — ну кто, кроме Стивенсона, мог назвать ослицу Модестиной?

Одна соседка позвала его в дом и принялась отчитывать так яростно, что он растерялся и перестал ее слушать. Подбоченившись, она с презрением смотрела на него. Потом она принесла новорожденного — это был сын — и сунула его Джуниусу в руки. У калитки она оглянулась: он стоял с ревущим младенцем на руках. Положить его было некуда, и он стоял так еще долго.

Много всякого рассказывали о нем в деревне. Иные его недолюбливали: люди деловые и энергичные часто недолюбливают лентяев, — порой завидовали его беспечности, а чаще жалели — никчемный, бестолковый человек. Но никто в долине не догадывался, что он счастлив.

Рассказывали, что, по совету врача, Джуниус купил козу, чтобы кормить ребенка козьим молоком. Он не спросил даже, коза это или козел, ни слова не сказал он и о том, зачем нужна ему коза. Когда покупку привели к нему во двор, он заглянул ей между ног и спросил совершенно серьезно:

— Это нормальная коза?

— Конечно, — сказал хозяин.

— Но разве тут вот, между задних ног, не должно быть вымени или еще там чего-то — для молока?

Жители долины помирали со смеху, рассказывая этот случай. Позднее, когда Джуниус купил новую козу, получше, он провозился с ней два дня, но не получил ни капли молока. Он уже собирался вернуть козу хозяину, сочтя ее неполноценной, но тот показал ему, как надо доить. Некоторые утверждали, что Джуниус просто клал ребенка рядом с козой и тот сосал ее, как козленок, но это выдумки. В конце концов, окрестные жители признались себе, что вообще не представляют, как он растит ребенка.

Как-то Джуниус съездил в Монтерей и нанял старика немца, чтобы тот помогал по хозяйству. Он заплатил своему новому работнику пять долларов авансом и с тех пор ни разу ему не платил.

Работничек через две недели совершенно обленился и делал на ферме не больше, чем хозяин. Они по большей части сидели вдвоем где-нибудь неподалеку от фермы и обсуждали проблемы, которые интересовали либо озадачивали их обоих: например, откуда цветы берут свой цвет, существует ли в природе символика, где находится Атлантида, как инки хоронили умерших.

Весной они сажали картофель — причем делали это всегда слишком поздно и никогда не клали в почву золу, чтобы предохранить клубни от вредителей. Кроме этого, они сеяли зерно, бобы, горох, какое-то время пытались ухаживать за своими посевами, потом начисто о них забывали. Участок зарастал сорняками. Нередко можно было наблюдать, как Джуниус роется в зарослях прекрасных диких мальв и спустя некоторое время появляется оттуда, держа в руках огурец почти белого цвета. Он перестал носить ботинки, поскольку ему нравилось ощущать тепло земли, кроме того, ботинок у него просто не было.

В тот день Джуниус много разговаривал с Джекобом Штутцем.

— Ты знаешь, — сказал он, — когда умерли дети — это был кошмар; я тогда подумал, что такого кошмара в моей жизни не было и быть больше

не может. А потом, пока я еще только размышлял об этом, кошмар уступил место горю, а позже горе превратилось в печаль. Я, вероятно, толком не знал ни своих детей, ни жены. Возможно, потому, что они были всегда рядом. Странная это штука — знать. Что люди знают — не более, чем какие-то мелочи. Есть умы дальнозоркие и есть близорукие. Я никогда не умел видеть вещей, которые находились со мною рядом. Ну, например, у меня гораздо более четкие представления о Парфеноне, чем о собственном доме.

Вдруг лицо Джуниуса затрепетало от восторга, его глаза возбужденно засияли.

— Джекоб, — сказал он, — ты когда-нибудь видел фриз Парфенона?

— Да! Он прекрасен! — ответил Джекоб.

Джуниус положил руку ему на колено.

— Ах, эти кони, — сказал он, — эти чудесные кони, скачущие по небесным пастбищам! А эти юноши, нетерпеливые и в то же время полные достоинства, они мчатся на сказочные празднества, которые развернулись на карнизе Парфенона. Я просто поражаюсь, откуда человек мог узнать, что чувствует лошадь, когда она счастлива; но скульптор знал это, иначе он никогда бы не сумел так изваять их.

Вот так они беседовали. Джуниус не обладал способностью сосредоточиться на одном каком-нибудь предмете. Частенько оба оставались голодными, потому что не успевали найти в траве к обеду куриное гнездо.

Сына Джуниуса назвали Робертом Луисом. Так мысленно называл его Джуниус. Но Джекоб Штутц возражал против такой, как он считал, претенциозности и литературщины.

— У мальчишки имя должно быть, как у собаки, — настаивал он, — односложное. Даже «Роберт» слишком длинно. Зови его Боб.

Джекоб так и называл мальчика.

— Готов пойти на компромисс, — отвечал Джуниус. — Давай будем звать его Робби, Робби короче, чем Роберт, правда?

Он часто уступал Джекобу, так как Джекоб кое-что делал по дому: к примеру, вел постоянную борьбу с паутиной, опутавшей все вокруг, а временами он с каким-то добродетельным неистовством принимался прибирать в доме.

Робби рос серьезным. Он все время ходил вместе с отцом и Джекобом, прислушиваясь к их разговорам. Джуниус не обращался с ним как с ребенком — он и не знал, как обращаются с детьми. Если Робби делал какое-нибудь замеча-

ние, взрослые учтиво его слушали; замечания мальчика как-то сами собой вплетались в ткань беседы, а иной раз становились предметом очередного диспута. За день они успевали обсудить множество разных вещей. По нескольку раз в день они заглядывали в энциклопедию.

Огромный платан разросся и простер свои ветви прямо над ручьем. Во время их бесед все трое восседали обычно на толстом суку платана. Мужчины сидели, свесив ноги в воду и пошевеливая ими гальку. Робби изо всех сил старался подражать им, видимо, полагая, что если он сумеет, как они, дотянуться ногой до воды, у него появятся некоторые основания считаться взрослым мужчиной. К тому времени Джекоб тоже перестал носить ботинки, а Робби не носил их сроду.

Разговоры велись самые ученые. Робби не знал языка детей — он ни разу в жизни не слышал детских словечек. Беседы эти не имели плана; идеи разрастались совершенно свободно и самым непредсказуемым образом. Джуниус и Джекоб иной раз сами удивлялись причудливому ходу своих мыслей. Они никак не направляли их — не ограничивали и не приукрашивали, как это делает обычно большинство людей, и их беседы порой приносили самые неожиданные плоды.

Так и сидели они целыми днями втроем на суку платана. Одежда их давно превратилась в лохмотья, волосы они стригли только тогда, когда они начинали лезть в глаза. Оба философа носили длинные, нестриженые бороды. Они часами смотрели на водомерок, скользящих по поверхности пруда, и огромный платан тихо шелестел листьями над их головами. Иногда какой-нибудь лист падал, будто бурый носовой платок. Робби исполнилось пять лет.

— Я думаю, платан хорошее дерево, — заметил он, когда лист упал к нему на колени.

Джекоб взял лист и стал отщипывать от него кусочки.

— Верно, — согласился он. — Платаны ведь всегда растут возле воды, а все хорошее любит воду. Все скверное всегда сухое.

— Платан — большое и хорошее дерево, — сказал Джуниус. — Мне кажется, все хорошее непременно должно быть очень большим — чтобы выжить. Всех хороших, но маленьких истребляют маленькие и злые. Большой редко бывает вероломным или подлым. Вот почему в человеческом сознании большое непременно связано с добром, а маленькое — со злом. Ты понял, Робби?

— Да, — ответил Робби. — Понял. Это как у слонов.

— А ведь верно! Слоны часто бывают злыми, но мы почему-то считаем, что слоны всегда такие добрые, благородные.

— Ну, а как же вода, — вмешался в разговор Джекоб. — Ты ведь и про воду понимаешь?

— Нет.

— Это я понимаю про воду, — сказал Джуниус. — Вода — зерно жизни. Из трех первооснов вода — зародыш, земля — чрево, а солнечный свет — творец жизни.

Такой вот чепухе они его учили.

Жители Райских Пастбищ отшатнулись от Джуниуса Молтби после смерти его жены и детей. Легенды о чудовищном бессердечии, которое он проявил во время эпидемии, разрастались и образовали гигантское здание, которое рухнуло в конце концов под собственной тяжестью. И хотя соседи забыли, что Джуниус читал, когда умирали его дети, он по-прежнему был для них загадкой, которую непременно нужно было разгадать. Здесь, в этом благодатном краю, он жил в ужасной нищете. В то время как другие семьи понемногу сколачивали капитал, покупали форды и радиоприемники, проводили в

дом электричество и дважды в неделю ездили в Монтерей или Салинас смотреть кино, Джуниус постепенно опускался и стал наконец настоящим дикарем с виду. Его соседей просто бесило, когда они смотрели на отличный участок, заросший сорняками, с неподстриженными деревьями, с завалившимся набок забором. Женщины брезгливо представляли себе, какая грязь должна быть в доме, если двор завален всяким хламом, а окна не мыли годами. Праздность и полное отсутствие честолюбия вызывали всеобщую неприязнь. Поначалу соседи еще заходили к Джуниусу, надеясь исцелить его от лености своим примером. Но он принимал их доброжелательно и на равных. Его нисколько не смущала ни бедность собственного жилища, ни рубище, прикрывавшее его тело. Постепенно Джуниус стал в глазах соседей своего рода парией. Никто больше не ходил к нему в гости. Его просто исключили из общества людей приличных и решили не принимать его у себя, буде он захочет нанести кому-нибудь визит.

Джуниус даже не догадывался о том, что вызывает такую неприязнь соседей. Он продолжал наслаждаться счастьем. Его жизнь была нереальной, романтичной и невесомой, как, впрочем, и его мысли. Ему вполне хватало того, что он мо-

жет сидеть на солнышке, болтая ногами в ручье. Пусть у него нет приличной одежды, но ведь и ходить в приличной одежде ему некуда.

И хотя соседи не любили Джуниуса, малыша Робби они жалели. Женщины считали, что это просто ужас — ребенок растет в такой нищете. Но будучи в большинстве своем людьми мягкими и незлобивыми, обитатели долины не испытывали желания вмешаться в жизнь Джуниуса.

— Подождем, пока он пойдет в школу, — говорила миссис Бэнкс местным дамам, собравшимся в ее гостиной. — Сейчас мы ничего не можем сделать — все права у этого, с позволения сказать, папаши. А вот когда ему исполнится шесть лет, тут уж, уверяю вас, у администрации округа найдется что сказать.

Миссис Аллен кивнула.

— Да, мы будто бы совсем забыли, что это сын не только Молтби, но и Мэмми Куокер. Думаю, нам следовало бы вмешаться гораздо раньше. Но когда он пойдет в школу, мы дадим бедному мальчику все необходимое, все то, чего он до сих пор лишен.

— Самое малое, что мы можем сделать, это хоть одеть его прилично.

Казалось, вся долина затаилась в ожидании

дня, когда Робби отправится в школу. Но вот Робби исполнилось шесть лет, и в первый день занятий он не явился в школу.

Джон Уайтсайд, секретарь попечительского совета, написал Джуниусу Молтби письмо.

— Надо же! А я и не подумал об этом, — сказал Джуниус, прочитав письмо. — Пожалуй, тебе придется отправиться в школу.

— Не хочу я идти в школу, — сказал Робби.

— Понимаю. И я не в восторге. Но существуют законы. А чтоб мы не забывали их исполнять, есть еще и наказания. За удовольствие нарушить закон приходится расплачиваться. Карфагеняне наказывали за неудачу. Если генералу не везло и он проигрывал сражение, его казнили. В наше время мы точно так же наказываем людей за невезение, а иной раз вообще за то, что на белый свет родились.

Продолжая разговор на эту тему, они забыли о письме. Джон Уайтсайд написал второе, выдержанное в очень резком тоне.

— Ну, что ж, Робби, придется все-таки идти, — сказал Джуниус, прочитав это послание. — Там ты, несомненно, узнаешь много полезного.

— А почему меня не можешь учить ты? — жалобно спросил Робби.

— О, мне это не по силам. Я, понимаешь ли, забыл все, чему они там учат.

— Но мне совсем туда не хочется. И учиться я не хочу.

— Да знаю я, но что поделаешь?

И в одно прекрасное утро Робби потащился в школу. На нем были старые рабочие брюки, основательно протертые на коленях и на заднице, и голубая блуза с оторванным воротником. А больше ничего. Волосы его свисали, как челка у пони, которого долго не стригли.

Во дворе школы его окружили дети. Они рассматривали его в глубоком молчании. Все были наслышаны о крайней бедности и лености Джуниуса Молтби. Мальчишки заранее предвкушали, как они будут изводить Робби. И вот час пробил: он стоял среди школьного двора, а они глазели на него, обступив со всех сторон. Впрочем, никто не спросил, как сперва собирались: «Где это ты оторвал такие брючки?» или «Какая дивная стрижка!». Мальчики и сами удивлялись, что в решающий момент так спасовали.

А Робби тем временем тоже стоял и рассматривал серьезными глазами окруживших его мальчишек. Он ничуть не испугался.

— Почему вы не играете? — спросил он. — Отец

говорил, что вы играете в разные игры.

Толпа мальчишек разразилась криками:

— Да он ни во что не умеет играть!

— В «чижика» его научим, в «чижика»!

— В «негритоса»!

— Нет, послушайте, лучше сперва в «колдунчиков»!

— Он же не знает ни одной игры!

И, хотя они и сами не понимали, в чем дело, им почему-то казалось, что это прекрасно — ни во что не уметь играть.

На лице Робби появилось озабоченное выражение.

— Попробуем в «чижика», — решил он.

Поначалу он был неловок, но его юные учителя не сердились. Напротив, они даже ссорились за право быть его наставником и яростно оспаривали друг у друга привилегию показать ему, как держать палку. Существовало несколько школ игры в «чижика». Робби стоял в сторонке, прислушиваясь к спорам, потом сам решил, кто будет его учить.

Влияние Робби на других школьников обнаружилось незамедлительно. Старшие его не замечали, зато младшие подражали буквально во всем, включая драные коленки на брюках. Когда

все усаживались у школьной стены на солнышке и принимались завтракать, Робби им рассказывал о своем отце, о тех беседах, которые они вели, сидя на суку платана. Они внимательно слушали и сожалели, что судьба не наградила их такими же беспечными и добрыми отцами.

Время от времени, обычно это бывало в субботу, кое-кто из мальчиков, вопреки запретам родителей, проникал во владения Молтби. Джуниус, естественно, отправлялся к платану, усаживался на свой сук, дети устраивались рядом, и он читал им «Остров сокровищ», или живописал галльские войны, или битву при Трафальгаре. Так не без помощи отца Робби очень быстро превратился в короля школьников. Об этом свидетельствовало и то, что у него не было какого-то одного закадычного друга, и то, что у него не было даже прозвища, и то, что он неизменно выступал арбитром во всех спорах. Положение его было столь высоким, что никто даже не пытался с ним подраться.

А Робби понял, что он оказался вожаком, гораздо позже. Его самообладание и недетская зрелость заставляли его сверстников признать за ним право предводителя. Когда мальчишки обсуждали, во что им играть, его голос неизменно

был решающим. В бейсболе он всегда был судьей — никто кроме него не умел судить, не вызывая всеобщего возмущения. И хотя сам он был неважным игроком, все вопросы соблюдения правил и этики неизменно были его прерогативой.

После довольно длительного совещания с Джуниусом и Джекобом, Робби изобрел две игры, ставшие очень популярными. Одна из них называлась «хитрый койот», местный вариант игры «сыщик и воры», а другая — «сломанная нога» — нечто вроде всем известных «салочек». Правила для этих двух игр он придумал сам, по собственному разумению.

Малыш вызвал большой интерес и у мисс Морган, — на занятиях он проявлял себя столь же удивительным образом, как и во время мальчишеских игр. Читал он замечательно, обладал лексикой взрослого человека, а вот писать совсем не умел. Ему были по плечу любые, самые большие числа, но учить правила арифметики он отказывался наотрез. Трудней всего Робби давалось письмо. Дрожащей рукой он выводил в своей тетради дикие каракули. В конце концов мисс Морган решила ему помочь.

— Возьми одну какую-нибудь фразу и пиши ее много раз подряд, пока не выйдет совсем кра-

сиво, — предложила она. — Только тщательно выводи каждую буковку.

Робби порылся в памяти, пытаясь вспомнить какое-нибудь изречение, которое ему нравилось. Наконец он написал: «Нет ничего чудовищнее того, что мы можем внушить себе сами». Он любил это слово «чудовищно». Оно придавало мысли тембр и глубину. Если есть слова, способные благодаря одной лишь силе своего звучания повелевать демонами, в число их, несомненно, входит слово «чудовищно». Снова и снова он писал эту фразу, тщательнейшим образом вырисовывая свое «чудовищнее». Час спустя мисс Морган подошла к нему взглянуть, как продвигается дело.

— Робби, дорогой мой, скажи, ради бога, где ты мог это услышать?

— Это из Стивенсона, мэм. Мой отец знает его почти наизусть.

Мисс Морган, конечно, была в курсе всех сплетен, но в душе, невзирая на это, была расположена к Джуниусу. Теперь у нее возникло сильное желание его увидеть.

Между тем ребятам наскучили обычные игры. Однажды утром, отправляясь в школу, Робби пожаловался на это Джуниусу. Джуниус погрузился в размышления, задумчиво пощипывая бороду.

— Есть хорошая игра — в шпиона, — сказал он наконец. — Помнится, мне в свое время она очень нравилась.

— А кого мы должны выслеживать?

— Все равно. Кого хотите. Мы обычно следили за итальянцами.

Робби в сильном возбуждении помчался в школу и в тот же день, всесторонне изучив «словарь школьника», создал В.С.С.Ш.П.Я. Смысл этой аббревиатуры, которая произносилась только шепотом, расшифровывался так: Вспомогательная Секретная Служба Шпионажа Против Японцев. Одного лишь этого великолепного названия хватило бы, чтобы обеспечить организации вес и популярность. Робби по одному приводил мальчиков под зеленую тень старых ив, растущих на школьном дворе, и они клялись там хранить тайну, причем клятва по своей свирепости была достойна какой-нибудь тайной ложи. Позднее он собрал всю группу. Робби объяснил ребятам, что Америка, несомненно, в свое время вступит в войну против японцев.

— Это обязывает нас к готовности, — сказал он. — Чем больше мы узнаем о гнусных приемах этой гнусной расы, тем больше разведывательных сведений мы сможем передать нашей стране,

когда начнется война.

Новобранцы тут же капитулировали перед столь великолепной формулировкой. Раз уж потребовались такие слова, значит, положение и в самом деле серьезно. Поскольку слежка стала делом всей школы, маленький Такаши Като, учившийся в третьем классе, с этих пор ни на минуту не мог остаться один. Если на уроке Такаши поднимал руку, Робби многозначительно смотрел на кого-нибудь из агентов Вспомогательной Службы, и тотчас же вторая рука яростно взлетала в воздух. Когда Такаши шел домой из школы, не менее пяти мальчишек крались за ним по кустам вдоль дороги. Дело кончилось тем, что мистер Като, отец Такаши, увидев как-то ночью у себя в окне чье-то бледное лицо, выстрелил из ружья. Робби вынужден был собрать Службу и отдать приказ — вести слежку только до захода солнца.

— Ночью они не опасны, — объяснил он.

А вообще-то Такаши не очень страдал от установленной за ним слежки, так как «службисты», которые должны были постоянно за ним наблюдать, не могли обойтись без него ни в одной сколько-нибудь важной экскурсии. Его всегда и всюду приглашали, поскольку никому не хоте-

лось следить за ним, оставшись в одиночестве.

Такаши нанес Службе смертельный удар, когда попросил (он догадывался о существовании организации) принять и его туда же.

— Не представляю себе, как же мы можем тебя взять, — дружески объяснял ему Робби. — Понимаешь, ты же японец, а мы ненавидим японцев.

Такаши чуть не расплакался.

— Я родился здесь, как и вы все! — кричал он. — Я такой же американец, как вы, да!

Робби глубоко задумался. Ему вовсе не хотелось быть жестоким по отношению к Такаши. Потом лицо его прояснилось.

— Скажи, ты по-японски говоришь? — спросил он.

— Конечно, говорю совсем неплохо.

— Ну, тогда ты можешь быть нашим переводчиком и расшифровывать секретные донесения.

Такаши просиял от удовольствия.

— Вот здорово! — воскликнул он радостно. — Если хотите, мы даже будем выслеживать моего старика.

На этом все и кончилось. Кроме мистера Като, не с кем стало воевать, а мистер Като был человек нервный и чуть что пулял из ружья. Прошли День всех святых и День благодарения. Робби оказывал

на сверстников заметное влияние, которое выражалось как в росте их лексических познаний, так и в явной ненависти к ботинкам и к любой приличной одежде. Хотя Робби и не осознавал этого, он установил в школе свой стиль — не то чтобы новый, но все же более суровый, чем раньше. Носить приличную одежду считалось недостойным мужчины, мало того, это рассматривалось как оскорбление Робби.

Как-то в пятницу, днем, Робби написал четырнадцать записок и тайно передал их на школьном дворе четырнадцати своим знакомым мальчуганам. Все записки были одинакового содержания. В них говорилось: «Индейцы взяли в плен през. С. Ш. и собираются сжечь его живьем, привязав к столбу возле моего дома завтра в десять часов утра. Пробирайтесь к нашему нижнему огороду и пролайте по-лисьи. Я выйду и поведу вас спасать его».

Вот уже несколько месяцев мисс Морган собиралась навестить Джуниуса Молтби. Ее интерес подогревали ходившие о нем рассказы, а также удивительные познания его сына. То и дело кто-нибудь из ребят делился очередной потрясающей новостью. Например, один мальчуган, слывший последним дурачком, рассказал ей, что Хенгист

и Хорса[2] захватили Британию. Под ее нажимом он признался «по секрету», что получил эту информацию от Джуниуса Молтби. Давняя легенда о козе так развеселила учительницу, что она записала ее и послала в журнал, но журнал не стал ее печатать. Не раз и не два собиралась она нанести визит Джуниусу Молтби.

И вот однажды декабрьским утром, в субботу, мисс Морган проснулась с четким желанием осуществить наконец свое намерение. Солнце ярко сияло. Она позавтракала, надела вельветовую юбку и ботинки, в которых обычно совершала прогулки, и вышла из дому. Во дворе она побеседовала с собаками, попыталась их уговорить пойти с ней, но в ответ они только повиляли хвостами и снова улеглись на солнышке.

Ферма Молтби располагалась в двух милях в небольшом каньоне, носившем название Гато Амарильо. Вдоль дороги бежал ручеек, под ольхой буйно разросся щитовник. В каньоне было довольно прохладно, — солнце еще не вышло из-за гор. На секунду мисс Морган показалось, что она слышит впереди шаги и голоса, но, быстрым шагом дойдя до поворота, она никого не обнару-

[2] Примечания: 2

Хенгист и Хорса, его брат. Хенгист возглавил первое нашествие германцев в Англию и основал королевство Кент.

жила. Тем не менее в кустах, росших у дороги, все время слышалось таинственное шуршание.

Хотя мисс Морган ни разу здесь не бывала, она сразу поняла, что это владения Молтби. Забор устало склонился к земле под тяжестью ежевики. Фруктовые деревья широко распростерли свои голые ветви. Лозы дикой куманики карабкались по стволам яблонь; белки и кролики выскакивали прямо у нее из-под ног и спасались бегством. Стая диких голубей, испуганная ее приближением, взмыла вверх, со свистом рассекая крыльями воздух.

Компания голубых соек, собравшись в ветвях высокой дикой груши, пронзительными голосами обсуждала какие-то свои проблемы, создавая немыслимую какофонию. Под вязом, одетым в мохнатую шубу инея, мисс Морган разглядела заросшую мхом крышу дома Молтби. Здесь царила тишина. Можно было подумать, что тут уже лет сто никто не живет. «Как все запущено! — подумала она. — И в то же время как все прелестно и естественно!» Она прошла во двор. Калитка держалась на одной петле. От дождя постройки стали серыми, а по стенам, похожие на пальцы огромной руки, вились дикие ползучие растения. Мисс Морган завернула за угол дома и замерла

с открытым от изумления ртом. По спине у нее пробежали мурашки. Посредине двора стоял толстый столб. К этому столбу был привязан какой-то старый оборванец. Другой человек, поменьше и помоложе, и еще более оборванный, складывал у ног пленника кучу хвороста. Мисс Морган похолодела. Она решила спрятаться за угол дома.

«Этого не может быть, — уговаривала она себя. — Это сон. Этого просто быть не может».

И тут она услышала, что эти двое беседуют самым дружелюбным образом.

— Скоро десять, — сказал палач.

Пленник ответил:

— Да, только, пожалуйста, когда станешь разводить костер, будь поосторожней. Убедись сначала, что они уже тут.

Мисс Морган чуть не вскрикнула от облегчения. Немного помедлив, она подошла к столбу поближе. Тот, который не был привязан, обернулся и увидел ее. Какое-то мгновение он стоял с несколько смущенным видом, но тут же справился с собой и поклонился. И когда этот человек, одетый в лохмотья, заросший густой нечесаной бородой, поклонился ей, это выглядело и смешно, и как-то по-особому мило.

— Я учительница, — едва переводя дыхание,

представилась мисс Морган. — Я тут просто гуляла и увидела ваш дом. На минуту мне показалось, что это аутодафе всерьез.

Джуниус улыбнулся.

— Конечно, всерьез. Вы даже представить себе не можете, насколько все это серьезно. Я подумал было, что и вы пришли его спасать. Его спасут ровно в десять.

Дикий лисий лай, донесшийся издалека, разорвал тишину.

— Грядет освобождение, — продолжал Джуниус. — Извините меня, пожалуйста… мисс Морган, так ведь? Я Джуниус Молтби, а этого джентльмена зовут обычно Джекобом Штутцем. Но сегодня он президент Соединенных Штатов, индейцы взяли его в плен и собираются предать смертной казни на костре. Сперва мы думали, что он будет госпожой Гунивер[3], но, даже несмотря на свой костюм, он все-таки больше похож на президента, чем на Гунивер, вы не находите? К тому же он отказался надеть юбку.

— Юбки эти какие-то дурацкие, — добродушно заметил президент.

Мисс Морган рассмеялась.

---

[3] Примечания: 3

Жена короля Артура из легенды «Король Артур и рыцари Круглого стола».

— Можно мне посмотреть, как его освободят, мистер Молтби?

— Я не мистер Молтби, в настоящий момент *я представляю собой целых триста индейцев.*

Снова послышался лисий лай.

— Сойдите с тропинки, — сказал «триста индейцев». — Вас могут принять за индейца и зарезать.

Он бросил взгляд на ручей. Ветка ивы отчаянно раскачивалась. Джуниус чиркнул спичкой по брюкам и поджег хворост. Едва вспыхнул огонь, обступавшие дом ивы словно разорвались на куски. Мальчишки, выскочив из зарослей, кинулись в атаку. Их вооружение и амуниция были пестрыми, как у французов, идущих штурмовать Бастилию. И как только языки пламени взметнулись вверх, дабы поглотить несчастного президента, костер яростно разметали во все стороны. Спасители трясущимися руками развязали веревки, и вот наконец Джекоб Штутц предстал перед ними, свободный и счастливый. Затем последовала церемония не менее впечатляющая, чем сама боевая операция по спасению президента. Мальчики выстроились для приветствия, а президент обошел строй и приколол на грудь каждому свинцовый жетон, на котором

было нацарапано слово «ГЕРОИ». На этом игра завершилась.

— В следующую субботу мы повесим негодяев, пытавшихся осуществить этот подлый замысел, — заявил Робби.

— Почему не сейчас? Повесим их прямо сейчас! — завопило войско.

— О, нет, мои солдаты. У нас еще много дел. Нам нужно соорудить виселицу. — Он повернулся к отцу. — Думаю, нам придется вздернуть вас обоих, — сказал он. Потом он алчно посмотрел на мисс Морган, но секунду спустя неохотно отвел глаза в сторону.

В жизни мисс Морган это был, пожалуй, самый приятный день. Хотя ей и выделили почетное место на суку платана, ребята перестали смотреть на нее как на учительницу.

— Будет лучше, если вы снимете туфли, — предложил Робби, и она действительно обнаружила, что куда приятней снять туфли и болтать в воде босыми ногами.

В этот раз Джуниус рассказывал об индейцах-людоедах с Алеутских островов. Поведал он и о том, как наемники восстали против Карфагена. Он красочно описал лакедемонян, которые тщательно причесывались, прежде чем погибнуть в

бою при Фермопилах. Он объяснил, откуда произошли макароны, а о том, как открыли медь, он рассказывал так, будто сам присутствовал при этом. И наконец, когда непреклонный Джекоб стал возражать против его трактовки первородного греха и между ними вспыхнула небольшая ссора, мальчики стали собираться домой. Мисс Морган позволила им обогнать ее — ей хотелось спокойно, наедине с собой поразмыслить об этом странном джентльмене.

Каждый год и учителя, и ученики с одинаковым ужасом ожидали дня, когда школу должны были посетить члены попечительского совета. Это был напряженный день. Уроки проходили нервно. Каждая ошибка казалась преступлением. И никогда дети не делали столько немыслимых ошибок, и учителя никогда так не трепали себе нервы, как в этот день.

Попечительский совет Райских Пастбищ посетил школу пятнадцатого декабря, днем. Сразу же после ленча члены совета с мрачным, прямо-таки похоронным, хотя и несколько смущенным видом вошли в класс. Первым шел Джон Уайтсайд, секретарь совета, пожилой седовласый человек. К образованию он относился спокойно, что не раз вызывало критику в его адрес. За ним шел

Пэт Хамберт. Пэта выбрали в совет, потому что он сам этого хотел. Он был одиноким человеком и не умел ни с кем сдружиться, но использовал любую возможность побыть в обществе. Он был одет в нелепый, негнущийся костюм, как статуя Линкольна в Вашингтоне. За ними с унылым видом следовал Т. Б. Аллен. Поскольку Аллен был единственным торговцем в долине, место в совете принадлежало ему по праву. Следом шествовал Реймонд Бэнкс, большой, веселый, краснолицый человек. Завершал процессию Берт Мэнро, только что избранный членом совета. Это был его первый визит в школу, поэтому, следуя за другими членами совета, он несколько напоминал овцу.

Когда члены совета заняли свои места, вошли их жены и расположились на стульях в другом конце класса, за спинами детей. Ученики смущенно ерзали. Они чувствовали себя, как солдаты, попавшие в окружение: все пути к бегству, если бы они вздумали бежать, были отрезаны. Обернувшись (точнее, извернувшись ужом), дети видели, как дамы, чинно сидящие сзади, улыбаются им самым доброжелательным образом. От их внимания не ускользнул и большой бумажный сверток, который держала на коленях

миссис Мэнро.

Уроки начались. Мисс Морган с принужденной улыбкой приветствовала попечительский совет школы.

— Джентльмены, — сказала она, — занятия будут идти как всегда, без малейших поблажек. Думаю, вам как официальным лицам будет интересно увидеть обычный день нашей школы.

Потом она пожалела об этих словах. Ни разу в жизни она не видела таких бестолковых детей. Те, кому удавалось выдавить из себя хоть несколько слов, делали при этом несусветные ошибки. Читая, они запинались на каждом слове. Члены совета пытались сохранить достоинство, однако многие не могли сдержать смущенную улыбку. На лбу мисс Морган выступили капельки пота. Она уже представила себе, как разгневанные члены совета снимают ее с должности. Дамы в задних рядах напряженно улыбались. Время шло. Когда с грехом пополам ей удалось закончить урок арифметики, точнее — пародию на урок арифметики. — Джон Уайтсайд встал.

— Благодарю вас, мисс Морган, — сказал он. — С вашего позволения я скажу детям несколько слов, а потом вы их отпустите. За час, проведенный в нашем присутствии, они заслужили вознаграж-

дение.

Учительница облегченно вздохнула.

— Значит, вы понимаете, что они отвечали хуже, чем обычно? Как я рада.

Джон Уайтсайд улыбнулся. Сколько таких вот молодых взволнованных учительниц перевидал он на своем веку.

— Если б я решил, что это все, на что они способны, я закрыл бы школу, — сказал он.

Потом он обратился к детям с краткой речью. Он говорил им, что они должны прилежно учиться и любить свою учительницу. Его речь была короткой и доброжелательной — он уже многие годы произносил ее в таких случаях. Закончив, он попросил учительницу отпустить детей. Ученики тихо вышли из класса, но на свежем воздухе их переполнило чувство свободы. Они устроили потасовку, орали, визжали и пытались прикончить друг друга путем отсечения головы и другими доступными им способами.

Джон Уайтсайд пожал руку мисс Морган.

— Никто из наших прежних учителей так хорошо не справлялся с классом, — любезно сказал он. — Думаю, вы были бы удивлены, если бы узнали, как любят вас дети.

— Но это же чудесные дети, — горячо произнес-

ла мисс Морган. — Это просто прекрасные дети.

— Конечно, — согласился Джон Уайтсайд. — Кстати, как учится малыш Молтби?

— О, блестяще. Он любознательный мальчик. По-моему, у него просто исключительные способности.

— На заседании совета о нем тоже шла речь, мисс Морган. Вам, конечно, известно, что дома у него все обстоит совсем не так благополучно, как хотелось бы. Сегодня *я за ним наблюдал. Бедный мальчик, посмотрите, во что он одет. Это же настоящее рубище.*

— Да, это необычный дом. — Мисс Морган почувствовала, что ее долг защитить Джуниуса. — Дом со странностями, но вовсе не такой уж скверный.

— Поймите меня правильно, мисс Морган. Мы не собираемся вмешиваться в это дело. Просто мы подумали, что можно подарить ему кое-что из одежды. Его отец, вы сами знаете, очень беден.

— Я знаю, — тихо сказала она.

— Миссис Мэнро ему кое-что купила. Не будете ли вы так добры его позвать, и мы вручим ему подарок.

— О, нет, мне бы не хотелось…

— Ну почему же? Там всего только несколько

рубашек, пара брюк и ботинки.

— Но, мистер Уайтсайд, он может расстроиться. Он очень гордый.

— Он расстроится из-за того, что у него будет приличная одежда? Чепуха. Мне кажется, его гораздо больше огорчает, что у него ее нет. К тому же ходить сейчас босиком просто холодно. На этой неделе каждую ночь заморозки.

— И все-таки, лучше не надо, — беспомощно проговорила мисс Морган. — Нет, правда же, лучше не стоит.

— Мисс Морган, вам не кажется, что вы делаете из мухи слона? Миссис Мэнро была так добра, что купила ему все эти вещи. Так будьте любезны, позовите мальчика, пусть она ему отдаст их.

И вот Робби предстал перед ними. Нечесаные волосы падали ему на лицо, в его глазах после недавней потасовки горел яростный огонек. Люди, столпившиеся в классе, рассматривали его вполне благодушно, стараясь не глядеть на дыры в одежде. Робби неловко озирался.

— Робби, миссис Мэнро хочет сделать тебе подарок, — сказала мисс Морган.

Тут миссис Мэнро вышла вперед и вложила в руки Робби сверток.

— Какой славный малыш!

Робби аккуратно положил сверток на пол и заложил руки за спину.

— Открой его, — строго произнес Т. Б. Аллен. — Что за манеры?

Робби взглянул на него с обидой.

— Да, сэр, — сказал он и развязал шпагат.

Перед ним лежали рубашки и новые брюки. Он смотрел на них и, казалось, ничего не понимал. Внезапно до него дошло, что это значит. Лицо его вспыхнуло. Какое-то мгновение он оглядывался, как затравленный зверек, а затем стрелой выскочил из класса. Он так и не взял подарок. Члены совета слышали, как он в два прыжка соскочил с крыльца и убежал.

Миссис Мэнро растерянно повернулась к учительнице.

— Что это с ним?

— Я думаю, он смутился, — сказала мисс Морган.

— Но почему? Мы же его не обижали.

Тут учительница попробовала объяснить, что же все-таки произошло, и, объясняя, немного на них рассердилась.

— Я думаю… понимаете… ну, в общем, мне кажется, до сих пор он просто не догадывался, что он беден.

— Это была моя ошибка, — признался Джон Уайтсайд. — Извините, мисс Морган.

— Как же нам быть? — спросил Берт Мэнро.

— Не знаю, честное слово, не знаю.

Миссис Мэнро обратилась к мужу:

— Берт, мне кажется, тебе нужно пойти к мистеру Молтби и поговорить с ним, может быть, тогда все уладится. Поговори с ним по-доброму, сердечно… ну, в общем, как ты умеешь. Объясни ему, что маленьким детям в мороз нельзя ходить босиком. Может, это убедит его. И тогда мистер Молтби сам велит маленькому Роберту взять наш подарок. Как вы считаете, мистер Уайтсайд?

— Мне это не по душе. И если вы со мной не согласитесь, придется устроить голосование. Я тут и так достаточно дров наломал.

— А я считаю, что здоровье мальчика важнее, чем всякие там эмоции, — настаивала миссис Мэнро.

Двадцатого декабря школу закрыли на рождественские каникулы. Мисс Морган собиралась провести их в Лос-Анжелесе. Ожидая на перекрестке автобус до Салинаса, она заметила мужчину с мальчиком. Они шли прямо к ней по дороге, которая вела из Райских Пастбищ. Одеты они были во все новое и недорогое. Казалось,

им трудно идти — оба чуть-чуть хромали. Когда они подошли ближе, мисс Морган пригляделась внимательнее и узнала Робби. Лицо у мальчика было мрачное, несчастное.

— Ой, Робби! — вскрикнула она. — Что случилось? Куда это ты собрался?

Вместо него ответил его спутник.

— Мы едем в Сан-Франциско, мисс Морган.

Она подняла глаза. Это был Джуниус. Бороду он сбрил. Она и не думала, что он такой старый. Даже его глаза, которые всегда глядели так молодо, сейчас казались старыми. А бледен он был, конечно, потому, что прежде носил бороду и она защищала его от загара. На лице его отражалось глубокое замешательство.

— Вы на каникулы едете? — спросила мисс Морган. — Знаете, я люблю рождественские ярмарки. Целыми днями могу там бродить.

— Нет, — помедлив, ответил Джуниус, — мы, пожалуй, едем туда насовсем. Я бухгалтер, мисс Морган. По крайней мере, двадцать лет назад я был им. Попробую найти работу.

Он говорил это с болью.

— Послушайте, зачем вам все это? — воскликнула она.

— Видите ли, — объяснил он просто. — Я не

представлял, что приношу мальчику вред. Я просто не думал об этом. Вы же понимаете, нельзя воспитывать его в нищете. Правда ведь? А я не знал, что говорят о нас люди.

— Но почему вы не остались на ферме? У вас хорошая ферма, верно?

— Я не могу зарабатывать здесь на жизнь, мисс Морган. Я ничего не смыслю в сельском хозяйстве. Джекоб пробовал вести хозяйство, но, понимаете, Джекоб слишком ленив. Как только смогу, я продам ферму и куплю Робби все, чего у него раньше не было.

Мисс Морган рассердилась. И в то же время почувствовала, что вот-вот расплачется.

— Неужели вы верите тому, что говорят вам эти идиоты?

Он удивленно взглянул на нее.

— Конечно, не верю. Только вам ли не знать — мальчика нельзя воспитывать как звереныша?

Появился автобус. Джуниус кивнул в сторону Робби.

— Он не хотел ехать. Сбежал в горы. Мы с Джекобом нашли его лишь вчера ночью. Слишком долго он жил как звереныш. Да и вообще, мисс Морган, он пока еще просто не представляет себе, как хорошо нам будет в Сан-Франциско.

Автобус затормозил. Джуниус и Робби вскарабкались на заднюю площадку. Мисс Морган собиралась войти вслед за ними, но передумала, села в автобус с другой стороны и пристроилась позади шофера.

«Ясно же, — подумала она, — им сейчас хочется побыть наедине».

VII

Старик Гиермо Лопес умер, когда его дочери были уже вполне взрослыми. Он оставил им сорок акров каменистой земли на склоне холма и ни цента денег. Девушки жили в дощатой обмазанной хижине, при которой были маленький флигелек, колодец и сарай. На истощенной почве, по сути дела, могли расти лишь шалфей да курай. И хотя сестры изо всех сил трудились на своем огородике, урожай они собрали весьма скудный. Некоторое время они с каким-то ожесточенным мученичеством голодали, но в конце концов плоть взяла свое. Они были слишком толсты и жизнерадостны для того, чтобы надеть на себя мученический венец по столь мирскому поводу, как отсутствие пищи.

Однажды у Розы возникла счастливая мысль:

— Разве умеет кто-нибудь в нашей долине печь такие вкусные тортильи, как мы с тобой? — спросила она сестру.

— Это искусство досталось нам в наследство от матушки, — благочестиво ответила Мария.

— А это значит, что мы спасены! Мы будем го-

товить пироги и маисовые лепешки и продавать их жителям Райских Пастбищ.

— А ты думаешь, они станут покупать? — усомнилась Мария.

— Послушай, что я тебе скажу, Мария. В Монтерее всего несколько женщин продают тортильи, да и что это за тортильи — в сто раз хуже наших. И все-таки женщины, которые их продают, просто богачки! Они делают себе по три новых платья в год. А разве их лепешки идут хоть в какое-нибудь сравнение с нашими? Вспомни, ведь нас учила наша мать.

От волнения глаза Марии наполнились слезами.

— Ой, ну, конечно, их нельзя сравнить! — пылко воскликнула она. — В целом мире не было ничего вкуснее лепешек, которые месили безгрешные руки нашей матушки.

— Ну что ж, тогда за дело! — решительно сказала Роза. — Хорошую вещь отчего не купить.

Целую неделю шли лихорадочные приготовления. Обливаясь потом, сестры скребли и украшали свое жилище. Когда все было кончено, их маленький домик, побеленный и внутри, и снаружи, выглядел очень нарядно. У порога посадили отводки герани; мусор, скапливавшийся

годами, был собран в кучу и сожжен. Переднюю комнату превратили в харчевню, в которой стояли два покрытых желтой клеенкой стола. Сосновая доска, прибитая к забору, выходящему на главную дорогу округа, гласила: «Маисовые лепешки, пироги и прочие испанские блюда. Р. и М. Лопес».

Дело не сразу пошло на лад. Можно сказать, что оно вообще не пошло. Сестры сидели за своими желтыми столиками и ждали. Они были ребячливо веселы и не очень опрятны. Сидя на стульях, они ждали, когда к ним явится счастье. Но стоило войти посетителю, и они стремглав бросались его обслуживать. Они восторженно смеялись всему, что он говорил; они похвалялись своей родословной и дивными качествами лепешек. С негодованием отрицая в себе примесь индейской крови, они по локоть закатывали рукава, чтобы показать, как бела их кожа. Но посетители бывали очень редко. И у сестер стали появляться затруднения. Они не могли заготавливать сразу много продуктов, ибо продукты портятся, когда лежат слишком долго. Для тамалей нужно свежее мясо. И они начали расставлять силки для кроликов и птиц; они сажали в клетки воробьев, черных дроздов, жаворонков и держали их там до

тех пор, пока они не потребуются для тамалей.

А дела по-прежнему шли из рук вон плохо.

Как-то утром Роза с решительным видом обратилась к сестре:

— Запряги-ка старину Линдо, Мария. У нас совсем не осталось мякины. — Она вложила в руку Марии серебряную монетку. — Купи в Монтерее. Только немного, — добавила она. — Когда дела у нас пойдут хорошо, мы купим целую гору.

Мария с послушным видом поцеловала сестру и направилась к сараю.

— И, Мария… если у тебя останется какая-нибудь сдача, то по конфете нам обеим… по большой конфете.

Вернувшись днем, Мария застала сестру как-то странно присмиревшей. Ни криков, ни визга, ни требований рассказать о всех подробностях путешествия — словом, ничего такого, что сопутствовало обычно их встречам после разлуки. Роза сидела за столом, и лицо ее было хмурым и озабоченным.

Мария робко приблизилась к сестре.

— Я очень дешево купила мякину, — сказала она. — А это для тебя, Роза, конфета. Самая большая и всего за четыре цента.

Роза взяла протянутую ей длинную палочку

леденца и, развернув с одного конца, сунула в рот. Она все еще была погружена в свои мысли. Нежно и лукаво улыбаясь, Мария присела рядышком, молчаливо моля сестру переложить на ее плечи часть своих забот. А Роза сидела неподвижная, словно скала, и сосала леденец. Внезапно она пристально взглянула в глаза Марии.

— Слушай, — проговорила она торжественно, — сегодня я отдалась посетителю.

От неожиданности Мария ойкнула.

— Не пойми меня превратно, — продолжала Роза. — Денег я не взяла. Но этот человек съел три порции энчилада… три!..

Взволнованная Мария заскулила тоненьким, детским голоском.

— Замолчи, — остановила ее Роза. — А что, по-твоему, я должна была делать? Раз мы хотим добиться успеха, нам надо всячески поощрять посетителей. А этот заказал три порции, Мария, три порции энчилада! И за все уплатил! Что ты скажешь? А?

Мария шмыгнула носом и, несмотря на доводы сестры, попыталась найти опору в благочестии.

— Мне кажется, Роза… мне кажется, что наша мама была бы рада, и еще мне кажется, что тебе самой стало бы легче на душе, если бы ты ис-

просила прощения у Пречистой Девы и у святой Розы.

Лицо Розы расплылось в широкой улыбке, и она заключила Марию в объятия.

— Именно это я и сделала. Как только он ушел. Он еще и через порог не переступил, а я уже сделала это.

Мария вырвалась из ее рук и, горько плача, убежала в спальню. Десять минут простояла она на коленях перед висевшей на стене маленькой статуэткой Мадонны. Потом встала и устремилась в объятия Розы.

— Роза, сестренка! — воскликнула она счастливым голосом. — Я думаю... мне кажется, я тоже стану поощрять посетителей.

Сестры Лопес стиснули друг друга в могучих объятиях и на радостях дружно разрыдались.

Этот день знаменовал собой поворотный пункт в предприятии сестер Лопес. Нельзя сказать, что дела их пришли в цветущее состояние, и все же они продавали столько «испанских блюд», что голодными теперь не были, а их широкие спины обтягивали обновки из набивных ситцев. Они по-прежнему были безукоризненно благочестивы. Стоило какой-нибудь из них согрешить, и она тут же устремлялась к крошечной фарфоровой

Мадонне, для удобства помещенной теперь в прихожей, куда выходили обе спальни, и испрашивала у нее прощения. Накапливать грехи не разрешалось. В каждом новом прегрешении они каялись сразу же после того, как оно было совершено. На полу против Мадонны образовалось блестящее местечко: здесь преклоняли колени одетые в ночные сорочки сестры.

Они не жаловались на жизнь. Между ними не возникало ни тени соперничества, ибо хотя Роза была постарше и посмелее, с виду они походили друг на дружку почти как две капли воды. Мария была чуть потолще, Роза — чуть повыше, вот вам и вся разница.

В доме то и дело слышался хохот и радостный визг. Раскатывая на плоских камнях лепешки своими полными, сильными руками, сестры пели. Стоило кому-нибудь из посетителей сказать что-нибудь смешное, стоило, например, Тому Бремену, доедающему уже третий тамаль, изречь: «Слишком уж ты шикуешь, Роза. Смотри, если не поставишь точку, сядешь на мель», — и сестры целых полчаса просто задыхались от смеха. А потом весь день, похлопывая по лежащим на камне лепешкам, они вспоминали эту шутку и снова принимались хохотать. Да, сестры знали, как хра-

нить смех, они умели беречь его и холить до тех пор, пока не будет выпита последняя его капля.

Не думайте, однако, что сестры злоупотребляли поощрениями — деньги они брали только за свою стряпню. Но когда кто-нибудь из посетителей съедал три порции и больше, их нежные сердца таяли, преисполнившись благодарности, и человек этот становился кандидатом в поощряемые.

В один злосчастный вечер человек, который не в силах был справиться с тремя порциями энчилада, предложил Розе позорную плату. В это время в доме было еще несколько посетителей. Услышав это постыдное предложение, они прервали свой негромкий разговор. Шум смолк, наступила ужасная тишина. Мария закрыла лицо руками. Роза побледнела, потом запылала от ярости. Глаза ее сверкали, она дышала тяжело и взволнованно. Ее полные, сильные руки взметнулись, словно два орла, и опустились на бедра. Но когда она заговорила, в словах ее звучала какая-то странная сдержанность.

— Вы меня оскорбили, — проговорила она хрипло. — Вы, может быть, не знаете, что генерал Вальехо приходится нам очень близким родственником, почти что предком. В наших жилах течет благородная кровь. Что сказал бы генерал

Вальехо, если бы узнал о том, что здесь только что было? Вы думаете, его рука не потянулась бы к мечу, если бы он услышал, как вы оскорбляете двух дам, которые доводятся ему такой близкой родней? Вы так думаете? Вы говорите нам: «Вы бесстыдные девки!» Нам, умеющим приготовлять самые вкусные и топкие лепешки в Калифорнии!

Она задыхалась от усилия держать себя в руках.

— Да я ничего такого не думал, — захныкал обидчик. — Ей-богу, Роза, и в мыслях не держал.

Тогда гнев ее остыл. Одна из рук (на этот раз она была похожа на жаворонка) вспорхнула с бедра и почти печальным жестом указала на дверь.

— Уходи, — сказала она мягко. — Я не думаю, что ты сделал это нарочно, но обида еще жива.

А когда преступник скрылся за дверью, Роза проговорила:

— Ну что, хочет кто-нибудь еще немного перца с фасолью? Такого перца с фасолью вам больше нигде не найти.

Но обычно сестры были довольны. Мария, нежная и чувствительная по натуре, посадила у дома еще несколько кустов герани, а вдоль забора — мальву. Съездив в Салинас, Роза и Мария купили

друг другу в подарок ночные чепцы, которые смахивали на опрокинутые гнезда, сплетенные из голубых и розовых ленточек. Эти чепцы были вершиной их желаний. Стоя рядом, они посмотрели в зеркало, а потом, повернувшись друг к другу, улыбнулись, подумав с легкой печалью: «Сегодня великий день. Об этом времени мы всегда будем вспоминать как о счастливой поре. Как жаль, что она не может длиться вечно!»

Предчувствуя, что их привольной жизни скоро придет конец, Мария каждый день ставила перед Мадонной большие букеты цветов.

Однако дурные предчувствия редко их посещали. Мария купила небольшой фонограф и пластинки: танго, вальсы. Занимаясь стряпней, сестры пускали машину и в такт музыке колотили по лепешкам.

В Райских Пастбищах, конечно, стали поговаривать, что сестры Лопес нехорошие женщины. Местные дамы холодно здоровались с ними при встрече. И откуда они только узнали, эти дамы? Мужья, конечно, ничего им не говорили, а они все-таки узнали; всегда они все знают!

Как-то в субботу на рассвете Мария вытащила старенькую упряжь, на которой недостающие ремни были заменены кусками веревки,

и развесила ее на остове Линдо. «Смелее, дружок», — сказала она, застегивая подхвостник, а засовывая ему в рот мундштук, добавила: «Давайка губки, Линдо, милый». Потом она заставила его попятиться и встать между оглоблями ветхой тележки. Линдо нарочно споткнулся об оглобли, как он спотыкался уже тридцать лет. Когда Мария пристегнула постромки, он оглянулся и бросил на нее хмурый взгляд, полный философской печали. Вопрос о том, куда придется ехать, теперь уже не волновал старого Линдо. Он был так стар, что, выехав со двора, даже не думал о возвращении домой. Сейчас он раздвинул губы, показав длинные желтые зубы, и безнадежно усмехнулся.

— Нам недалеко, — успокоила его Мария. — А поедем потихонечку. Не надо бояться, Линдо.

Но Линдо боялся. Путешествие в Монтерей и обратно внушало ему отвращение.

Тележка угрожающе накренилась под тяжестью Марии. Девушка потихоньку взяла в руки вожжи.

— Поехали, дружок, — оказала она и пошевелила вожжами.

Линдо вздрогнул и оглянулся.

— Ты слышишь? Надо ехать. Мы должны кое-что купить в Монтерее.

Линдо покачал головой и согнул колено, словно делал реверанс.

— Послушай, Линдо! — повелительно воскликнула Мария. — Говорю тебе, надо ехать. Серьезно говорю. Я рассержусь!

Она сердито дернула вожжи. Голова Линдо поникла до самой земли, и он медленно поплелся со двора, словно собака, идущая по следу. Девять миль до Монтерея и девять миль обратно. Линдо знал это и приходил в отчаяние. Однако теперь, когда серьезность Марии и ее гнев улетучились, она устроилась поудобней и замурлыкала припев из танго, которое называлось «Лунный вальс».

Холмы сверкали росой. Вдыхая свежий, влажный воздух, Мария стала напевать громче, и даже Линдо почувствовал себя настолько юным, что из его дряхлых ноздрей послышалось какое-то фырканье. Перед ними, заливаясь неистовой песней, перелетал со столба на столб луговой жаворонок. А далеко впереди Мария увидела идущего пешком человека. Еще до того, как она с ним поравнялась, она угадала по шаркающей, неуклюжей, словно у обезьяны, походке, что это Аллен Хьюнекер, самый уродливый и самый робкий мужчина в их долине.

Аллен Хьюнекер обладал не только походкой

обезьяны, но и обезьяньей наружностью. Когда какому-нибудь мальчугану хотелось оскорбить приятеля, он говорил ему, указывая на Аллена: «Вот идет твой брат». В этих словах заключался убийственный сарказм. Застенчивый Аллен был в таком ужасе от своей внешности, что попытался отрастить бакенбарды, которые скрыли бы его лицо, но грубая редкая щетина вырастала не там, где надо, и только подчеркивала его сходство с обезьяной. Его жена вышла за него замуж, потому что ей стукнуло тридцать семь лет и потому что Аллен был единственным из знакомых ей мужчин, который не сумел постоять за себя. Впоследствии выяснилось, что испытывать чувство ревности было так же необходимо для организма этой женщины, как отправление всех прочих жизненных функций. Поскольку в поведении Аллена не было ничего такого, что могло бы дать ей повод ревновать, она принялась фантазировать. Она рассказывала соседкам о его мужской лихости, вероломстве, тайных похождениях. Она рассказывала все эти истории до тех пор, пока сама не начала в них верить, но соседки, слушая о прегрешениях Аллена, только посмеивались у нее за спиной, ибо в Райских Пастбищах все знали, как робок и запуган этот маленький уродец.

Поравнявшись с Алленом Хьюнекером, престарелый Линдо споткнулся. Мария что было сил натянула вожжи, словно сдерживая взмыленного скакуна, несущегося во весь опор.

— Тише, Линдо! Успокойся, — закричала она.

Едва почуяв прикосновение вожжей, Линдо стал как вкопанный, сразу же приняв ту понурую, разбитую позу, которую всегда принимал, стоя на месте.

— Доброе утро, — вежливо поздоровалась Мария.

Аллен испуганно потеснился к краю дороги.

— Здрасьте, — ответил он и с деланным интересом стал рассматривать вершину холма.

— Я еду в Монтерей, — продолжала Мария. — Подвезти вас?

Аллен съежился и обратил свой взор на облака и ястребов, парящих в небе.

— Мне-то ведь только до автобусной остановки, — проговорил он хмуро.

— Ну и что же? Туда ведь тоже можно подъехать, верно?

Человечек в нерешительности поскреб бакенбарды, потом, скорее для того, чтобы покончить со всем этим, чем ради удовольствия прокатиться, вскарабкался на телегу рядом с толстенькой

Марией. Девушка откатилась к краю, освобождая ему место, и слегка откинулась назад.

— Поехали, Линдо! — крикнула она. — Линдо, ты слышишь, что я сказала? Трогай, пока я не рассердилась.

По шее Линдо захлопали вожжи. Линдо уткнулся носом в землю и поплелся дальше.

Некоторое время они ехали молча, но вскоре Марии пришло в голову, что было бы очень учтиво завязать беседу.

— Отправляетесь в поездку, верно? — обратилась она к нему.

Аллен выпучил глаза на дуб, стоявший у дороги, и не сказал ни слова.

— Я никогда не ездила поездом, — немного помолчав, призналась Мария. — Но моя сестра Роза ездила в поездах. Один раз она ездила в Сан-Франциско и один раз назад. Я слышала, как очень богатые люди говорили, что путешествовать хорошо. И моя сестра Роза то же самое говорит.

— Я-то сам только в Салинас еду, — заметил Аллен.

— О, ну там-то я, конечно, много раз бывала. У нас с Розой такие друзья в Салинасе! Наша мама оттуда родом. И папа часто ездил туда с дровами.

Аллен сделал отчаянную попытку побороть

свою застенчивость.

— Никак не мог завести форд, а то бы я на нем поехал.

— Так у вас есть машина? — Новость произвела впечатление.

— Да нет, просто старенький фордик.

— Мы говорили… Мы с Розой говорили, что когда-нибудь, может быть, и у нас будет форд. Вот тогда уж мы поездим повсюду! Я слыхала, как говорили очень богатые люди, что путешествовать очень приятно.

Словно завершая этот разговор, из-за холма показался потрепанный фордик и с грохотом двинулся им навстречу. Мария вцепилась в вожжи.

— Линдо, успокойся! — воскликнула она.

Линдо не обратил ни малейшего внимания ни на форд, ни на Марию.

В машине были мистер и миссис Мэнро. Берт обернулся и, вытянув шею, посмотрел вслед телеге.

— О бог ты мой! Ты видела? — спросил он со смехом. — Видела этого старого греховодника с Марией Лопес?

Миссис Мэнро улыбнулась.

— Послушай-ка, — воскликнул Берт, — а славная вышла бы шутка, если бы мы сказали

старушке Хьюнекер, что видели, как ее старикан катил вместе с Марией Лопес!

— И думать об этом не смей! — решительно возразила жена.

— Но шутка была бы славная. Ты ведь знаешь, какие вещи она про него рассказывает.

— Нет, нет, не надо, Берт!

А Мария все ахала, простодушно болтая со своим необщительным пассажиром.

— Вы никогда не заходите к нам попробовать наших энчилада. Таких энчилада больше нигде нет. Потому что, знаете, мы ведь учились у нашей мамы. Когда наша мама была жива, говорили, что до самого Сан-Хуана, даже до самого Гилроя нет никого, кто сумел бы так ровно и так тонко раскатать лепешки. Вы, верно, знаете, что для того, чтобы лепешка была вкусной и тонкой, ее надо раскатывать, все время раскатывать. А так долго, как наша мама, никто не катает, даже Роза. А сейчас я еду в Монтерей за мукой, она там дешевле.

Аллен Хьюнекер прижался к самому краю сиденья и с нетерпением ждал автобусной остановки.

Возвращалась Мария уже к вечеру.

— Скоро мы будем дома, — радостно сообщи-

ла она Линдо. — Смелей, дружок, теперь уже недалеко.

Мария сгорала от нетерпения. В порыве безумного мотовства она купила четыре леденцовые палочки, и это было еще не все. Она везла с собой подарок для Розы — пару широченных, вышитых маками шелковых подвязок. Она представляла себе, как Роза наденет подвязки и поднимет юбку — разумеется, чуть-чуть. Они поставят на пол зеркало и вдвоем будут смотреть на подвязки. Потом Роза встанет на цыпочки, и они расплачутся от счастья.

Во дворе Мария медленно выпрягла Линдо. Она знала, что чем больше оттягиваешь удовольствие, тем оно делается приятнее. Было тихо. Ни одной повозки, которая указывала бы на то, что в доме есть посетители. Мария повесила на место старую упряжь и вывела Линдо на пастбище. Потом достала леденцы и подвязки и тихо вошла в дом.

Роза сидела за одним из столиков, молчаливая и сдержанная, мрачная, страдающая Роза. Глаза ее казались тусклыми и невидящими. Она сидела, положив перед собой на стол свои полные, сильные руки и стиснув кулаки. Когда в комнату вошла Мария, она не обернулась и ничем не

показала, что видит ее. Мария замерла на месте и уставилась на сестру.

— Роза, — заговорила она робко, — я приехала, Роза.

Та медленно повернула к ней голову.

— Да, — сказала она.

— Ты нездорова, Роза?

Взгляд потускневших глаз вновь обратился к столу. — Нет.

— Я привезла тебе подарок, Роза. Посмотри-ка.

Она протянула ей ослепительные подвязки.

Медленно, очень медленно Роза перевела взгляд на роскошные красные маки, а потом взглянула в лицо Марии. Мария уже готова была издать восторженный вопль. Роза потупила глаза, и две крупные слезы покатились вниз по впадинкам у носа.

— Роза, ты видишь, что я тебе купила? Они тебе не понравились? Ты не хочешь примерить их, а, Роза?

— Ты моя маленькая славная сестренка.

— Роза, скажи мне, что случилось? Ты нездорова? Ну, ты ведь должна рассказать своей Марии. У нас кто-нибудь был?

— Был, — глухо ответила Роза. — Шериф был.

Мария так разволновалась, что затрещала без

умолку.

— Так, значит, шериф приходил? Ну, теперь наши дела пойдут отлично. Теперь уж мы будем богаты. А сколько энчилада, Роза? Скажи мне, сколько он заказал энчилада?

Роза стряхнула с себя оцепенение. Она подошла к Марии и обняла ее по-матерински.

— Бедная моя сестренка! — сказала она. — Мы больше не будем продавать энчилада. Нам опять придется жить по-старому, и у нас не будет новых платьев.

— Ты с ума сошла! Почему ты так странно со мной говоришь?

— Это все правда. У нас был шериф. «Поступила жалоба, — сказал он, — люди жалуются, что вы открыли нехороший дом». — «Это ложь, — ответила я, — ложь и оскорбление для нашей матери и для генерала Вальехо». — «Мне подана жалоба, — говорит он, — вы должны никого к себе не пускать, или я арестую вас за содержание нехорошего дома». — «Но это же ложь», — говорю я и пытаюсь все объяснить ему. А он снова: «Сегодня днем мне подана жалоба. А когда я получаю жалобу, я уже ничего не могу поделать. Потому что, видишь ли, Роза, — говорит он мне с дружеским видом, — я всего лишь слуга людей, подающих жалобы». А

теперь ты сама видишь, Мария, сестренка моя, что нам снова придется жить по-старому.

Оставив потрясенную Марию, она вернулась к своему столу. С минуту Мария пыталась собраться с мыслями и вдруг горько разрыдалась.

— Успокойся, Мария, я уже обо всем подумала. Ты знаешь, нам и вправду придется голодать, если мы перестанем продавать энчилада. Не суди меня слишком строго за то, что я сейчас скажу тебе. Я твердо решилась. Вот что, Мария. Я поеду в Сан-Франциско и стану там скверной женщиной.

Голова ее склонилась на лежащие на столе полные руки.

Рыдания Марии утихли. Она на цыпочках подкралась к сестре.

— За деньги? — прошептала она с ужасом.

— Да, — горько плача, ответила Роза. — За деньги. За целую кучу денег. И пусть простит меня всемилостивейшая Мадонна!

Мария отошла от нее и, поспешив в прихожую, остановилась перед фарфоровым изображением Мадонны.

— Я ставила свечи, — говорила она плача. — Я каждый день приносила цветы. Святая Мадонна, чем мы тебе не угодили? Как могла ты допустить

такое?!

Потом она опустилась на колени и прочитала пятьдесят «Аве Мария». Перекрестившись, она встала с колен с напряженным, но решительным лицом.

В соседней комнате Роза все еще сидела, склонившись над столиком.

— Роза, — громко сказала Мария. — Я сестра твоя. Я то же, что и ты. — Она с трудом глотнула воздух. — Роза, я поеду с тобой в Сан-Франциско и тоже стану скверной женщиной.

И тут самообладание покинуло Розу. Она встала со стула и раскрыла свои мощные объятия. Обнявшись, сестры Лопес долго плакали навзрыд.

VIII

Молли Морган сошла с поезда в Салинасе и почти час ждала автобуса. Большая машина была пуста: в ней ехали только шофер и Молли.

— Знаете, я никогда еще не бывала в Райских Пастбищах, — сказала она. — Далеко это от шоссе?

— Около трех миль, — ответил шофер.

— А найду я там машину до самых Пастбищ?

— Нет, если только вас кто-нибудь не встретит.

— Но как же туда добираются?

Шофер с явным удовольствием проехал по распростертому на дороге кролику.

— Я только мертвых давлю, — пояснил он виновато, — а тех, что попадают в свет фар, стараюсь как-нибудь объехать.

— Я понимаю, но как же мне все-таки добраться до Райских Пастбищ?

— Не знаю я. Наверно, пешком. Все пешком ходят, если их не встречают.

Когда он высадил ее у проселка, Молли Морган уныло подняла свой чемодан и зашагала в сторону холмов. Но вот, поравнявшись с нею, скрипнул

тормозами старый фордовский грузовичок.

— В долину, мэм?

— Да, да, в долину.

— Тогда садитесь. Да вы не бойтесь. Я Пэт Хамберт. У меня свой дом в Пастбищах.

Молли бросила взгляд на запыленного человека, сидящего за рулем, и приняла приглашение.

— Я ваша новая учительница. То есть я надеюсь, что буду здесь учительницей. Вы не знаете, где живет мистер Уайтсайд?

— Ну еще бы, я как раз в ту сторону еду. Он у нас председатель попечительского совета. Сам я, знаете ли, тоже в совете. Мы там все гадали, какая вы… — Он вдруг смутился и покраснел под слоем пыли. — То есть я, конечно, хотел сказать, что вы собой представляете. С той учительницей мы, откровенно говоря, намаялись. Работала-то она хорошо, но уж больно часто болела. Да и нервная была. А потом и вовсе ушла из-за своих болезней.

Молли пощипывала кончики пальцев на перчатках.

— В письме, которое я получила, сказано, чтобы я зашла к мистеру Уайтсайду. Он как, ничего?.. Ах, я что-то не то говорю. Я хотела спросить, что он за человек?

— О, вы с ним отлично поладите. Он славный старик. Родился в том самом доме, в котором и сейчас живет. И в колледже, как вы, учился. Хороший человек. Вот уже больше двадцати лет председатель попечительского совета.

Выйдя из машины у большого старинного дома Джона Уайтсайда, Молли испугалась по-настоящему.

«Ну вот, сейчас начнется, — подумала она. — А чего бояться-то? Что он мне сделает?»

Молли было девятнадцать лет, и она понимала, что предстоящий разговор о ее первой работе — важнейшее событие ее жизни.

На пути к дому она нисколько не успокоилась. Дорожка пролегала между аккуратными маленькими клумбочками, которые были обсажены подстриженными кустиками, и казалось, тот, кто их сажал, сделал им предупреждение: «Растите и размножайтесь, но не растите слишком высоко и не размножайтесь слишком обильно, а пуще всего остерегайтесь выбегать на дорожку». Во всем здесь чувствовалась твердая рука — направляющая и исправляющая.

Большой белый дом выглядел очень внушительно. Желтые деревянные жалюзи были опущены, чтобы лучи полуденного солнца не

проникали в комнаты. Когда Молли дошла до половины дорожки, она увидела веранду — теплую, широкую, приветливую, словно объятия.

«Вот посмотришь на крыльцо — и сразу скажешь, гостеприимный дом или нет. А что, если бы дверь была малюсенькая, а крыльца и вовсе не было?» — мелькнуло у нее в голове. Но, невзирая на радушие широких ступеней и большой парадной двери, робость не оставляла ее. Она позвонила. Дверь отворилась; перед Молли стояла крупная спокойная женщина и с улыбкой глядела на нее.

— Надеюсь, вы ничего не продаете, — проговорила миссис Уайтсайд. — Я вечно покупаю то, что мне не нужно, а потом ем себя поедом.

Молли рассмеялась. Она вдруг почувствовала себя очень счастливой. До этой минуты она и сама не знала, как она боится.

— О нет! — воскликнула она. — Я новая учительница. В письме сказано, что со мной будет беседовать мистер Уайтсайд. Можно мне его увидеть?

— Конечно. Он как раз кончает обедать. А вы уже обедали?

— Да, конечно. То есть нет.

Миссис Уайтсайд хмыкнула и, пропуская ее в

дверь, сказала:

— Приятно услышать столь определенный ответ.

Она провела Молли в большую столовую, где вдоль стен стояли серванты из красного дерева. Квадратный стол был заставлен тарелками.

— О, Джон, должно быть, уже пообедал и ушел. Садитесь, милая барышня. Сейчас я принесу жаркое.

— Нет, что вы! Благодарю вас, право же не надо. Я только поговорю с мистером Уайтсайдом и сразу уйду.

— Садитесь, садитесь. Надо же вам сперва подкрепиться.

— А он что — очень крут?.. Я имею в виду… с новыми учителями?

— Ну, это уж смотря по обстоятельствам, — ответила миссис Уайтсайд. — Если он не отобедал, он прямо зверь и страшно на них кричит. А если он только что из-за стола — свиреп, но в меру.

Молли радостно рассмеялась.

— У вас, конечно, есть дети, — сказала она. — Вы воспитали много-много детей и любите их.

Миссис Уайтсайд нахмурилась.

— Нет, это меня воспитал ребенок. Всего один ребенок. Да еще как воспитал! Где уж мне было

с ним справиться. А сейчас он занялся воспитанием коров, вот бедняги. Нет, плохо у меня получилось…

Когда Молли поела, миссис Уайтсайд распахнула боковую дверь и сказала:

— Джон, к тебе пришли.

Она подтолкнула Молли через порог, и та очутилась в комнате, похожей на библиотеку, — там стояли большие шкафы, набитые старинными, толстыми, уютными книгами в переплетах с золотым тиснением. Но комната была также и гостиной — там был кирпичный камин с полочкой из красной черепицы, и на ней стояли разные диковинные вазы. Над камином висела на гвозде большая пенковая трубка, словно ружье на ремне. Возле камина стояло несколько старинных, обитых кожей и украшенных кистями кресел-качалок с пружинными сиденьями. Кресла были не простые — они звенели и пели, когда кто-нибудь в них качался. И наконец, комната эта была и кабинетом — там стояла старомодная конторка с крышкой на роликах, а за ней сидел Джон Уайтсайд. Когда он поднял голову, Молли подумала, что никогда в жизни не видела таких добрых и в то же время строгих глаз и таких белых волос. Белые-белые, будто даже голубоватые,

шелковистые волосы — целая копна.

— Меня зовут Молли Морган, — чинно представилась Молли.

— Да, да, мисс Морган, я ждал вас. Может быть, вы присядете?

Она села в одну из качалок, и пружины застонали, словно в сладкой муке.

— Люблю эти кресла, — сказала она. — Когда я была маленькой, у нас было одно такое. — Тут она подумала, что ведет себя глупо. — Я пришла поговорить с вами относительно места учительницы. В письме сказано, чтобы я к вам зашла.

— Вы напрасно так волнуетесь, мисс Морган. Я уже много лет беседую с каждым новым учителем и до сих пор, — он улыбнулся, — понятия не имею, как это делается.

— О… я очень рада, мистер Уайтсайд. Я никогда еще не устраивалась на работу. Я, правда, струсила.

— Так вот, мисс Молли Морган, насколько я понимаю, цель нашей беседы состоит в том, что я должен хоть немного познакомиться с событиями вашей прошлой жизни и составить себе о вас какое-то представление. Предполагается, что к концу разговора я уже буду кое-что знать о вас. Ну, а теперь, когда вам известны мои намере-

ния, думаю, вы будете молодцом и постараетесь произвести на меня хорошее впечатление. Мне кажется, если вы просто немного расскажете о себе, то это и будет как раз то, что нужно. Всего несколько слов, что вы за девушка и откуда к нам приехали.

Молли торопливо кивнула.

— Хорошо, я постараюсь, мистер Уайтсайд.

И она стала вспоминать.

Старый, грязный, некрашеный дом; со двора широкое крыльцо, к перилам приставлены круглые лохани. Взобравшись на высокую иву, два ее брата, Джо и Том, кричат друг другу: «Теперь я орел!» — «А я попугай!» — «А я петух!» — «Гляди!» Приоткрывается дверь, и с усталым видом выглядывает мать. Сколько бы она ни причесывалась, волосы у нее никогда не лежат гладко. Выбившиеся из прически густые пряди свисают по щекам. У нее всегда покрасневшие глаза, а руки в глубоких трещинах.

— Том! Джо! — кричит она. — Вы там расшибетесь. Ну зачем вы меня так пугаете? Неужели вы совсем не любите свою маму?

Голоса на дереве смолкают. Шумливая отвага «орла» и «петуха» задавлена угрызениями совести. Молли сидит в пыльном дворике и

обматывает тряпкой палку. Она старается представить себе, что это высокая леди в платье.

— Молли, иди посиди со мной. Я так устала сегодня.

Молли втыкает палку в землю.

— Ну и выпорю же я вас, мисс, когда вернусь, — свирепо шипит она. Потом покорно уходит в дом.

Мать сидит на кухне в кресле с прямой спинкой.

— Подойди же ко мне, Молли, посиди со мной немножко. Люби меня, Молли. Люби хоть капельку. Ты ведь моя славная дочурка, верно?

Молли ерзает на стуле.

— Разве ты не любишь свою мамочку, Молли?

Девочка чувствует себя очень несчастной. Она знает, что сейчас мама начнет плакать и надо будет гладить ее по растрепанным волосам. И Молли, и братья знают, что они должны любить свою маму. Ведь она сделала для них все, буквально все. Им стыдно, что они так не любят сидеть с ней, но они ничего не могут с собой поделать. Когда она зовет их, а они знают, что она их не видит, они делают вид, что не слышат, и, тихо перешептываясь, стараются удрать подальше…

— Ну что ж, пожалуй, надо начать с того, что

мы были очень бедны, — сказала Молли Джону Уайтсайду. — Мне кажется, мы жили просто как нищие. У меня было два брата, чуть старше меня. Мой отец был коммивояжером, но маме все равно приходилось работать. Она страшно много работала, для того чтобы нас содержать.

Примерно раз в полгода происходило великое событие. Утром мама тихо выходила из спальни. Волосы ее были причесаны со всей возможной тщательностью, глаза сияли, она казалась счастливой и почти хорошенькой.

— Тише, дети. Папа приехал, — говорила она шепотом.

Молли и мальчики неслышно выскальзывали из дома и даже во дворе еще говорили шепотом. Новость быстро облетала соседние дома. Вскоре двор наполнялся ребятишками. Те тоже говорили шепотом.

— Говорят, их отец приехал.

— Это правда, что ваш папа приехал?

— А где он был в этот раз?

К полудню во дворе собиралось полным-полно ребят. Сгорая от нетерпения, они стояли маленькими группами и шикали друг на дружку.

И тут с шумом распахивалась кухонная дверь и во двор выскакивал отец.

— Эгей! — кричал он что есть мочи. — Эгей, детишки!

Молли и братья кидались к нему, жались к его ногам, а он хватал их на руки и подбрасывал, словно котят.

Тут же суетилась миссис Морган и взволнованно квохтала:

— Дети, дети! Не изомните папе костюм.

А соседские ребятишки кувыркались и визжали от радости. Это было лучше всякого праздника.

— А что я вам покажу! — кричал отец. — Вот немного погодите и увидите, что я вам привез. А пока это секрет.

Когда страсти немного утихали, он выносил на крыльцо чемодан и открывал его. Там были такие подарки, каких ребята никогда в жизни не видывали: диковинные механические игрушки — умеющие ползать жестяные жучки, танцующие деревянные негры, чудесные экскаваторы, которыми можно было копать песок. Здесь были дивные стеклянные шарики, в самой серединке которых сидел медведь или собака. Отец привозил что-нибудь для каждого, для каждого несколько штук. Казалось, все большие праздники сгрудились в один.

Только к вечеру ребята немного успокаива-

лись, и никто уж больше не взвизгивал ни с того ни с сего. Тогда Джордж Морган усаживался на ступеньку, а все садились вокруг него, и он рассказывал о своих приключениях. На этот раз он был в Мексике, в ту самую пору, когда там случилась революция. А кроме того, он побывал в Гонолулу, видел вулкан и катался на доске по волнам прибоя. И вечно города, и вечно люди, разные люди, и вечно приключения, тысячи забавных случаев, смешных-смешных. Рассказать все сразу было немыслимо. После школы они снова собирались, чтобы слушать, слушать без конца. По всему белому свету бродил Джордж Морган, собирая удивительные приключения.

— Что касается нашей семейной жизни, — проговорила мисс Морган, — я бы сказала, что у меня почти что не было отца. Ему редко когда удавалось вырваться домой из деловых поездок.

Джон Уайтсайд грустно кивнул.

Молли стала машинально разглаживать подол платья, взгляд ее затуманился.

Однажды он привез в коробке коротконогого лохматого щенка, который немедленно намочил на полу.

— А какой породы эта собака? — спросил Том с видом знатока.

Отец громко расхохотался.

До чего же он был молод! Казалось, что он моложе матери лет на двадцать.

— Это собачка на полтора доллара, — объяснил он. — На полтора доллара вы получаете целую бездну разных собачьих пород. Знаешь, на что это похоже? Представь себе, что ты входишь в кондитерскую и говоришь: «Дайте мне на пять центов мятных лепешек, тянучек и малиновой карамели». Ну, а я пошел и сказал: «Дайте-ка мне на полтора доллара собачьей смеси». Понял, какой породы эта собака? Она принадлежит Молли, и Молли должна придумать ей имя.

— Я назову ее Джордж, — сказала Молли.

Отец как-то чудно поклонился ей и сказал:

— Спасибо, Молли.

И все заметили, что на этот раз он не смеется.

На другой день Молли встала очень рано и повела Джорджа во двор, чтобы показать ему где что. Она раскрыла тайничок, где были спрятаны два пенса и золотая пуговица полицейского. Положив передние лапки щенка на забор, показала ему школу, которая виднелась в конце улицы. И наконец с Джорджем под мышкой полезла на иву. Из дома вышел Том и стал вертеться под деревом.

— Смотри не урони его! — крикнул он.

И в ту же минуту щенок вывернулся из-под руки и упал. Он глухо шмякнулся о твердую землю. Одна лапка неестественно изогнулась, и щенок завизжал протяжно, страшно, всхлипывая и задыхаясь. Молли слезла с дерева пришибленная, потрясенная. Бледный, с исказившимся лицом, Том склонился над щенком, а Джордж, щенок, все визжал и визжал.

— Так нельзя! — закричал Том. — Нельзя! — Он бросился к поленнице дров и вернулся с топором.

Молли была так ошеломлена, что даже не отвернулась, но Том зажмурился перед тем, как ударить. Визг тут же умолк. Том отбросил топор и перескочил через изгородь. Молли увидела, как он кинулся бежать, словно за ним гнались по пятам.

В эту минуту из дома вышли Джо и отец. Молли и сейчас помнит, каким изможденным, худым и серым стало лицо отца, когда он увидел щенка. Молли посмотрела на него и заплакала.

— Я уронила его с дерева, и он расшибся, а Том ударил его, а после убежал…

Голос у нее был словно чужой. Отец прижал к себе голову девочки.

— Бедняга Том! — проговорил он. — Запомни, Молли, ты никогда не должна ни слова говорить ему об этом и не смотреть на него так, словно ты помнишь.

Он набросил на щенка рогожу.

— Надо будет устроить похороны, — сказал он. — Я вам рассказывал когда-нибудь о том, как я был на китайских похоронах, о бумажных цветах, которые подбрасывали в воздух, о толстых жареных поросятах на могиле? — Джо пододвинулся поближе, и даже в глазах у Молли мелькнуло любопытство. — А дело было так…

Молли взглянула на Джона Уайтсайда, и ей показалось, что он внимательно изучает какую-то бумажку на конторке.

— Когда мне было двенадцать лет, мой отец погиб при катастрофе, — сказала она.

Счастливая пора длилась обычно около двух недель. И неизбежно наступал такой день, когда Джордж Морган отправлялся в город и не возвращался оттуда до поздней ночи. Мать рано укладывала их спать, но они все равно слышали, как он входил в комнату, наталкиваясь на мебель, слышали его голос, доносившийся к ним сквозь стену. В такие ночи голос его звучал грустно и

растерянно, — он никогда так не разговаривал. Дети лежали в постели, затаив дыхание, они знали, что все это значит. Наутро он уедет и унесет с собой их сердца.

Они без конца спорили, кто он такой. Их отец — счастливый аргонавт, чудесный рыцарь. Добродетель, отвага и красота служили ему кольчугой.

— Когда-нибудь, — говорили мальчики, — когда мы вырастем, мы поедем с ним вместе и сами все увидим.

— Я тоже поеду, — решительно заявляла Молли.

— Да ты девчонка, тебе нельзя.

— Ну и что, он-то все равно разрешит мне. Сами знаете, что разрешит. Он заберет меня с собой, вот увидите.

Когда он уезжал, мать снова впадала в уныние и ходила с покрасневшими глазами. Она сварливо домогалась их любви, словно это был пакет, который они могли тут же сунуть ей в руки.

Как-то раз отец уехал и больше не вернулся. Он и раньше никогда не посылал им денег и даже не писал, но теперь он исчез совсем. Они ждали его два года, а потом мать сказала, что он, наверно, умер. Ребята похолодели при одной лишь этой

мысли, но поверить в то, что это возможно, они отказались. Такой прекрасный и добрый человек, как их отец, не мог умереть. Он странствует и сейчас в каком-то неведомом краю. Есть веская причина, которая мешает ему к ним вернуться. Когда-нибудь эта помеха исчезнет, и он приедет — в одно прекрасное утро он появится здесь с такими подарками да историями, каких еще никогда не бывало. Но мать сказала, что он, как видно, попал в аварию. И, наверное, погиб. Мать просто обезумела от горя. Она читала объявления, предлагавшие надомную работу. Ребята делали бумажные цветы и стыдливо пытались продавать их. Мальчики пробовали устроиться разносчиками журналов, семья голодала. В конце концов, когда терпеть было уже невмоготу, мальчики убежали из дому и поступили во флот. После этого Молли видела их так же редко, как прежде отца, и они так изменились, стали такими шумливыми и грубыми, что ей и не хотелось видеть их чаще. Братья стали чужими.

— Я окончила среднюю школу, уехала в Сан-Хосе и поступила в учительский колледж. Работала прислугой у миссис Аллен Морит и получала за это комнату и еду. Моя мать умерла еще до того, как я окончила школу, так что я, пожалуй,

сирота.

— Очень сочувствую вам, — пробормотал Джон Уайтсайд.

Молли вспыхнула.

— Я не хотела вызвать ваше сочувствие, мистер Уайтсайд. Но вы сказали, что хотите знать обо мне все. Каждый человек когда-нибудь становится сиротой.

— Совершенно верно, — кивнул он. — Думаю, в каком-то смысле я тоже сирота.

Молли работала, а взамен получала комнату и еду. Она делала все, что полагалось делать постоянной прислуге, но денег ей не платили. Деньги на одежду она откладывала, работая продавщицей во время летних каникул. Миссис Морит умела школить своих служанок.

«Я беру в услужение желторотую девчонку, которая и цента не стоит, — любила повторять миссис Морит, — и через полгода она уже может зарабатывать пятьдесят долларов в месяц. Многие женщины знают это и просто переманивают к себе моих девушек. Вот эта — первая студентка, которую я решилась нанять, и даже она делает заметные успехи. Она, правда, слишком много читает. Я всегда говорю, что в десять часов служанка должна уже спать, а то она не сможет как

следует работать».

Метод миссис Морит заключался в том, что она без раздражения, но твердо пилила своих служанок за каждую мелочь. «Я не хочу к вам придираться, Молли, но, если вы не будете тщательнее вытирать серебро, на нем останутся разводы». «Нож для масла надо класть сюда, Молли. Тогда вот здесь вы сможете поставить бокал».

— Я каждый раз все обосновываю, — рассказывала она своим друзьям.

Вечером, вымыв посуду, Молли садилась на свою кровать и принималась за книги, а когда гасили свет, она ложилась и думала об отце. Это было смешно, она знала. Пустая трата времени, не больше… Отец входил в дверь — на нем был сюртук с закругленными полами, полосатые брюки и цилиндр. В руке он держал огромный букет красных роз.

— Я не мог приехать раньше, Молли. Одевайся скорее. Сейчас мы с тобой пойдем покупать то вечернее платье, что выставлено в витрине «Пруссии». Но надо спешить. Сегодня вечером мы едем в Нью-Йорк. Я уже взял билеты. Скорее, Молли! Что же ты стоишь, разинув рот?..

Это было так глупо. Ведь отец умер. Впрочем,

в глубине души она не верила в это. Он где-то живет, его жизнь прекрасна, и когда-нибудь он вернется к ней.

Молли говорила одной из своих школьных подруг:

— Ты понимаешь, я и верю, и не верю. Если я когда-нибудь узнаю, что он и вправду умер, это будет страшно. Просто не представляю, что со мной будет. Я и думать не хочу, что когда-нибудь узнаю точно, что его нет в живых.

Когда умерла ее мать, она не почувствовала ничего, кроме угрызений совести. Мать так хотела, чтобы дети ее любили, и не знала, как добиться этой любви. Она оттолкнула их от себя своей назойливостью.

— Ну вот и все как будто, — закончила Молли. — Я получила диплом, и меня послали сюда.

— Пожалуй, это самый ясный рассказ из всех, что мне приходилось выслушивать, — заметил Джон Уайтсайд.

— Значит, вы считаете, что я могу получить это место?

Старик бросил быстрый взгляд на большую трубку над каминной доской.

«Это его друг. — подумала Молли. — У них свои секреты».

— Да, я думаю, что вы получите эту работу. Я даже думаю, что вы ее уже получили. Ну, а где вы намерены жить, мисс Морган? Вам ведь надо найти себе где-нибудь комнату и пансион.

И прежде чем она поняла, что говорит, Молли выпалила:

— Я хочу жить здесь.

Джон Уайтсайд изумленно открыл глаза.

— Но мы никогда не брали постояльцев, мисс Морган.

— О! Мне очень жаль, что я это сказала. Но мне так понравилось у вас.

Он позвал:

— Уилла!

А когда жена его приоткрыла дверь, сказал ей:

— Эта молодая леди хочет поселиться у нас. Она наша новая учительница.

Миссис Уайтсайд нахмурилась.

— Вот уж не ожидала. Мы никогда не брали постояльцев. Она слишком хорошенькая, чтобы жить рядом с таким дуралеем, как Билл. Что станется с его коровами? Хлопот не оберешься… Вы можете спать в третьей спальне наверху, — продолжила она, обращаясь к Молли. — Только боюсь, она не очень солнечная.

Жизнь преобразилась. Молли вдруг поняла,

что она королева. С первого же дня она завоевала восторженную любовь учеников, потому что и сама их понимала, и, что гораздо важнее, не препятствовала тому, чтобы они понимали ее. Она не сразу осознала, что стала важной персоной. Если в лавке двое фермеров затевали спор о чем-нибудь, касающемся истории, литературы или математики, и дискуссия заходила в тупик, они говорили:

— Давай-ка спросим учительницу. Если она не знает, то прочитает в своих книжках.

Молли очень гордилась, что может отвечать на их вопросы. Устраивали где-нибудь вечеринку — Молли приглашали помочь украсить помещение и советовались с ней насчет угощения и напитков.

— Мне кажется, надо всюду повесить сосновые ветки. Они такие красивые и так приятно пахнут. Пахнут праздником.

Считалось, что она все знает и во всем может помочь, и это очень ее радовало.

Дома, на кухне, она безропотно выполняла распоряжения ворчливой Уиллы. Когда прошло полгода, миссис Уайтсайд пожаловалась мужу:

— Если бы у Билла хоть чуть-чуть варила голова. Хотя… Если у нее хоть чуточку варит… — И

она умолкла.

По вечерам Молли писала письма тем немногим подругам, которые появились у нее в учительском колледже, письма, полные радости и разных историй из жизни ее соседей. Она должна присутствовать на всех вечеринках, чтобы поддерживать свой престиж. По субботам она уходит гулять в горы, приносит оттуда папоротник и дикие цветы и сажает их возле дома.

Билл Уайтсайд бросил на Молли один-единственный взгляд и тут же сбежал к своим коровам. Прошло много времени, прежде чем он решился вступить с ней в продолжительную беседу. Это был рослый и представительный молодой человек, не обладавший ни строгой добротой отца, ни смешливостью матери. Однако в конце концов он стал ходить за Молли следом и глядеть на нее издали.

Как-то вечером, полная чувства благодарности за свое счастье, Молли рассказала Биллу об отце. Они сидели на веранде на складных парусиновых стульях и ждали, когда взойдет луна. Она рассказала ему о редких приездах отца и о его исчезновении.

— Вы понимаете меня, Билл? — воскликнула она. — Мой отец, мой милый отец жив. Мой

отец… Он жив. Ведь правда, Билл?

— Возможно, — ответил Билл. — Но судя по тому, что вы рассказываете, он довольно безответственный субъект. Вы уж меня простите, Молли… Опять же, если он не умер, непонятно, почему он ни разу не написал вам.

Молли похолодела. Это были те самые доводы, которые она гнала от себя все эти годы.

— Да, конечно, — сказала она сухо. — Я понимаю. А теперь мне надо поработать, Билл.

На вершине одного из холмов, обступивших долину Райских Пастбищ, стояла старая хижина. Оттуда открывался вид на окрестности и близлежащие дороги. Рассказывали, что хижину эту построил разбойник Васкес и что он прожил в ней целый год, а в это время отряды полиции рыскали в поисках его по всей округе. Хижина была местной достопримечательностью. Рано или поздно каждый житель долины должен был на нее посмотреть. Молли то и дело спрашивали, побывала ли она в хижине.

— Еще нет, — отвечала она, — но я обязательно схожу. Как-нибудь в субботу. Я знаю, где тропинка.

Однажды утром она надела башмаки для прогулок и вельветовую юбку. Билл нерешительно

подошел к ней и попросил разрешения ее сопровождать.

— Нет, — ответила она. — Вам надо работать. Разве можно отрывать вас от работы?

— А ну ее к чертям! — сказал Билл.

— И все же я пойду одна. Я не хочу вас обижать, Билл, мне просто хочется пойти одной.

Молли было жаль, что она не позволила ему пойти, но то, что он сказал об отце, ее напугало. «Я хочу, чтобы это было приключение, — думала она. — А если со мною пойдет Билл, никакого приключения не получится. Будет просто прогулка».

Полтора часа карабкалась она по крутой тропинке, которая вилась между дубами. Опавшие листья были скользкими, как стекло, безжалостно палило солнце. Воздух был напоен ароматом папоротников и влажного мха. Когда Молли наконец добралась до вершины, она вспотела и запыхалась. Хижина стояла на небольшой вырубке — бревенчатый домик, всего одна комната без окон. Дверной проем зиял чернотой. Здесь царила тишина, та гудящая тишина, когда лишь жужжат мухи и пчелы да цвиркают кузнечики. Весь горный склон негромко напевал, пригретый солнечными лучами. Молли на цыпочках приблизилась к хижине. Сердце ее бешено ко-

лотилось.

— Вот оно, приключение, — прошептала она. — Я в хижине Васкеса!

Она заглянула в дверь и увидела убегавшую ящерицу. Лба девушки коснулась паутина, словно пытаясь остановить ее. В хижине было пусто — лишь земляной пол да трухлявые бревенчатые стены и тот суховатый запах запустения, который издает земля, давно не видевшая солнца. Молли была сама не своя от волнения.

«Ночью он сидел здесь. Иногда ему казалось, что к хижине подкрадываются люди, он выходил из дверей, словно дух тьмы, и пропадал, растворялся во мгле». Она взглянула вниз, на долину Райских Пастбищ. Темно-зеленые квадраты садов, желтые хлеба, а позади — светло-коричневые, в лиловатой дымке горы. Между фермами вились и петляли дороги, здесь минуя поле, там огибая огромное дерево, тут — горный склон. Над всей долиной висело знойное марево.

— Просто не верится! — шептала Молли. — Чудо! Самое настоящее приключение!

Легкий ветерок поднялся над долиной и замер, как будто кто-то вздохнул во сне.

«А днем юный Васкес смотрел на долину так же, как смотрю теперь я. Он стоял на этом самом

месте и глядел на дороги внизу. На нем был пурпурный жилет, расшитый золотыми галунами, брюки с раструбами книзу облегали его стройные ноги. Колесики на шпорах он обертывал шелковыми лентами, чтобы не звенели при ходьбе. Случалось, на дороге он замечал конный отряд полиции. По счастью, всадники ехали, опустив головы, и не глядели на вершины гор. Васкес смеялся, но ему было страшновато. А иногда он пел. Тихие, печальные песни — он ведь знал — ему недолго жить».

Молли сидела на холме, подперев ладонями подбородок. Молодой Васкес стоял с нею рядом, у него было веселое лицо ее отца, его сияющие глаза — у отца такие бывали, когда он выскакивал на крыльцо и кричал: «Эгей, детишки!» И все это было словно одно из отцовских приключений. Молли стряхнула с себя оцепенение и встала. «Ну, а теперь надо вернуться к самому началу и снова все обдумать».

К вечеру миссис Уайтсайд послала Билла на розыски Молли. «Всякое бывает. А вдруг она вывихнула ногу?» Но едва только Билл свернул с дороги к тропинке, Молли вышла ему навстречу.

— А мы уже начали беспокоиться, что вы заблудились, — проговорил он. — Ходили смотреть

хижину?

— Да.

— Смешная развалюха, верно? Самый обыкновенный старый сарай. Здесь, в долине, таких сколько угодно. Но вы не поверите, какая бездна народу таскается поглядеть именно на тот. И что самое смешное — никто не может поручиться, что сам Васкес хоть раз заглянул туда.

— Он там жил, я уверена!

— Почему вы так думаете?

— Не знаю.

Билл стал серьезным.

— Все считают Васкеса героем, а на самом деле он просто вор. Начал с того, что воровал лошадей и овец, а потом стал грабить почтовые дилижансы. Да еще убил несколько человек. Мне кажется, Молли, что мы должны учить людей ненавидеть грабителей, а не поклоняться им.

— Конечно, Билл, — проговорила она устало, — вы совершенно правы. Ничего, если мы некоторое время помолчим? Я немного устала, и нервы что-то расходились.

Минул год. Вербы украсились пушистыми сережками, на склонах гор запестрели дикие цветы. Молли знала теперь, что в долине Райских Пастбищ она и нужна, и любима. Ее даже приглашали

на заседания попечительского совета. В былые времена, когда эти загадочные и торжественные сборища проводились за закрытыми дверями, они вселяли во всех священный трепет. Но после того, как Молли допустили в гостиную Джона Уайтсайда, она узнала, что попечительский совет толкует о видах на урожай, рассказывает разные истории и незлобиво сплетничает.

Берт Мэнро, избранный в совет в начале осени, к весне стал самым деятельным его членом. Именно он предложил устраивать в здании школы танцевальные вечера, ему принадлежали все эти затеи с любительскими спектаклями и пикниками. Он даже назначил премии за лучшие табели. Члены попечительского совета возлагали на Берта Мэнро немалые надежды.

Как-то вечером Молли спустилась из своей комнаты с опозданием. Как и всегда во время заседаний совета, миссис Уайтсайд сидела в столовой.

— Я, пожалуй, не пойду туда сегодня, — сказала Молли. — Пусть разок побудут без меня. Мне иногда кажется, что, если бы меня там не было, они рассказывали бы какие-нибудь совсем другие истории.

— Идите, идите, Молли, что за выдумки! Разве

они смогут заседать одни? Они к вам так привыкли, что пропадут без вас. К тому же я совсем не уверена, что им следует рассказывать эти свои другие истории.

Молли покорно постучалась и вошла в гостиную. Берт Мэнро, который что-то говорил в эту минуту, учтиво смолк.

— Я сейчас рассказывал о моем новом батраке, мисс Морган. Начну сначала, история забавная. Мне, видите ли, понадобился работник на сенокос, и я подобрал этого типа под мостом через Салинас. Он на ногах не стоял, но оказалось, что ему нужна работа. Сейчас, когда я его взял, я вижу, что толку с него, как с козла молока, но прогнать уже не могу. Этот весельчак исходил весь свет. Вы бы послушали, как он рассказывает о разных местах, где он был. Мои ребятишки не позволят мне его прогнать, даже если я захочу. Понимаете, увидит он какую-нибудь ерунду, а расскажет так, что просто чудо! Ребятишки сидят вокруг него развесив уши. А раза два в месяц он ходит в Салинас и запивает горькую. Он запойный. Тамошние полицейские как найдут его в канаве, так сразу мне звонят, чтобы приезжал за ним. И, верите, стоит ему очухаться, как у него в кармане всякий раз оказывается какой-нибудь подарок для моего

сынишки Мэнни. С таким человеком ничего не сделаешь. Он тебя обезоруживает, хоть за целый месяц и на доллар не наработает.

Молли почувствовала, что кровь стынет у нее в жилах. Мужчины хохотали:

— Очень уж ты жалостливый, Берт. Ты что, решил держать у себя шута на жалованье? Я бы от него быстро избавился.

Молли порывисто поднялась, ужаснувшись, что кто-нибудь вдруг спросит, как фамилия этого человека.

— Я что-то неважно себя чувствую сегодня, — сказала она. — Если вы не возражаете, джентльмены, я пойду к себе.

Мужчины встали и не садились до тех пор, пока она не вышла из комнаты.

Наверху она бросилась на кровать и зарылась лицом в подушку.

— Какое-то сумасшествие! — шептала она. — Этого не может быть. Забудь об этом! — Она с ужасом заметила, что плачет.

Прошло несколько мучительных недель. Теперь Молли неохотно выходила из дому. Идя в школу и обратно, она не поднимала глаз. «Если я увижу незнакомого человека, я убегу. Но ведь это же глупо. Я просто дура». Лишь в своей комнате

она чувствовала себя в безопасности. Из-за постоянно терзавшего ее страха она стала бледной, и глаза ее утратили свой блеск.

— Молли, вам надо лечь, — уговаривала ее миссис Уайтсайд.

Но Молли не хотела ложиться. Слишком много мыслей приходило ей в голову, когда она лежала в постели.

На следующем заседании совета Берта Мэнро не было. Молли немного успокоилась и повеселела.

— Вы уже поправляетесь, верно ведь, мисс Морган?

— Да, конечно, да. У меня был какой-то пустяк, что-то вроде простуды. Но, если бы я тогда себя не пересилила, я бы могла расхвораться всерьез.

Они заседали уже целый час, когда в дверь вошел Берт Мэнро.

— Прошу извинить за опоздание, — сказал он. — Все та же история. Мой работничек уснул на улице в Салинасе. Сейчас отсыпается в машине. Завтра придется мыть ее шлангом.

У Молли сжалось горло. Какое-то мгновение ей казалось, что она упадет в обморок.

— Простите, я должна выйти! — выкрикнула она и бросилась вон из комнаты.

Она постояла в темном холле, прислонясь к

стенке. Потом, медленно переставляя ноги, как заведенная, вышла из парадной двери и спустилась с крыльца.

Ночь была полна шорохов. На дороге смутно чернел автомобиль Берта Мэнро. Молли было странно, что ноги, словно сами собой, несут ее по тропинке.

— Ну вот, я сама себя убиваю, — сказала она. — Все бросаю на ветер. Зачем?

Вот ее рука уже на калитке, тянется, чтобы отворить ее. Внезапно легкий ветерок донес до нее резкую вонь. Она услыхала пьяный храп. И тут словно какой-то вихрь пронесся у нее в голове. Молли резко повернулась и опрометью кинулась к дому. У себя в комнате она заперла дверь и села, застыв, словно каменная, тяжело дыша после бешеного бега. Ей казалось, что прошло несколько часов, прежде чем до нее донеслись голоса выходящих из дому людей. Заворчал мотор бертовского автомобиля и, постепенно стихая, замер вдали. Теперь, когда она могла выйти, силы оставили ее.

Когда Молли вошла в гостиную, Джон Уайтсайд что-то писал за конторкой. Он поднял на нее вопросительный взгляд.

— Вы нездоровы, мисс Морган. Вам нужен

врач.

Она неуклюже, будто деревянная, встала с ним рядом. — Вы могли бы найти мне замену? — спросила она.

— Ну, конечно. Укладывайтесь в постель, а я вызову врача.

— Вы меня не поняли, мистер Уайтсайд. Я хочу сегодня уехать.

— Что это вам пришло в голову? Вы ведь больны.

— Я говорила вам, что мой отец умер… Я не знаю, умер ли он. Я боюсь… я должна уехать сегодня.

Он внимательно поглядел на нее.

— О чем это вы? — мягко спросил он.

— Если я узнаю, что этот пьяница, который живет у мистера Мэнро… — Она умолкла, внезапно ужаснувшись тому, что собиралась сказать.

Джон Уайтсайд медленно склонил голову.

— Нет! — крикнула она. — Я этого не думаю. Нет, нет!..

— Мне бы хотелось чем-нибудь помочь вам, Молли.

— Я не хочу уезжать. Мне у вас так нравится… Но я боюсь. Это для меня очень важно.

Джон Уайтсайд встал, подошел к ней и обнял

за плечи.

— Мне кажется, я не все понял, — сказал он. — Да я и не хочу понимать. Не нужно понимать. — Он словно разговаривал сам с собой. — Это было бы не совсем вежливо… понять…

— Когда я отсюда уеду, я смогу в это не верить, — всхлипывая, проговорила Молли.

Он на секунду крепко сжал ее плечи.

— Бегите-ка наверх и уложите свои вещи, Молли, — сказал он. — Сейчас я выведу машину и отвезу вас прямо в Салинас.

IX

Одним из самых примечательных мест в Райских Пастбищах была ферма Реймонда Бэнкса. Ферма была поистине восхитительна. Реймонд держал пять тысяч белых кур и тысячу белых уток. Ферма располагалась в северной, самой красивой части долины. Реймонд разбил свой участок на правильные квадраты, которые засевал люцерной и капустой. Свои курятники, приземистые и длинные, он белил так часто, что они всегда выглядели новенькими и безупречно чистыми. Птичьего помета, который на любой птицеводческой ферме непременно валяется целыми кучами, у Реймонда отродясь никто не видел.

Для уток Реймонд вырыл большой круглый пруд. Пруд был проточный. Вода текла в него из толстой железной трубы, а дальше растекалась по делянкам люцерны, бежала среди грядок упругой, крепкой капусты. И до чего же приятно было глядеть, как ярким солнечным утром тысячи белых чистеньких цыплят шныряли в темно-зеленой люцерне, добывая себе пропитание,

а сотни белых уток величественно бороздили водную гладь. Утки двигались тяжеловесно, огромные, как Левиафаны, а на ранчо слышалось бойкое кудахтанье кур.

С вершины ближнего холма открывался вид на ровные зеленые прямоугольники люцерны, где, словно белые пушинки, сновали куры и цыплята. А порой вдруг краснохвостый ястреб зависал в вышине, пристально наблюдая за фермой Реймонда. Белые пушинки мгновенно прекращали свою беспорядочную суету. Куры стремительно спасались бегством, воздух оглашал отчаянный писк перепуганных цыплят. С грохотом захлопнув за собой дверь, Реймонд с ружьем в руках выскакивал из дома. Ястреб взмывал на сотню футов вверх и улетал восвояси. Белые стайки цыплят снова рассыпались по полям в поисках пропитания. Зеленые прямоугольники были отгорожены друг от друга, так что пока один участок, как говорят фермеры, «отдыхал», куры орудовали на другом. С горы виднелся и побеленный дом Реймонда, он стоял на опушке дубовой рощи. Возле дома росло множество цветов: ноготки обыкновенные, африканские бархатцы и флоксы, высокие, как деревья.

За домом располагался огромный розовый

сад, прямо-таки настоящий розарий, — единственный в этих местах сад, действительно заслуживающий такого названия. Все в округе гордились фермой Реймонда, — она считалась образцовой.

Реймонд Бэнкс был очень силен. Толстые короткие руки, широкие плечи, массивные ноги и даже заметное под комбинезоном брюшко создавали облик силача, который все может — и подтолкнет, как следует, и вытянет, и подымет. Кожа его загорела до красноты — и открытые по локоть тяжелые руки, и шея, насколько позволял расстегнутый ворот, и лицо основательно обгорели и потрескались. Загорела даже голова под редкой белобрысой шевелюрой. У Реймонда были удивительные глаза. Обычно если брови и волосы светлые, то глаза бывают голубыми, а у Реймонда глаза были черные, как сажа. Толстые, чувственные губы и злодейский крючковатый нос. Солнце с какой-то особой яростью обрушивалось на его нос и уши. По крайней мере, круглый год они у него были облезшие и обгорелые.

Реймонду Бэнксу было тогда около сорока пяти. Человек необычайно веселого нрава, он никогда не разговаривал тихо. В его крикливом голосе странно сочетались ярость и ирония. Что бы он

ни говорил, даже самые обычные вещи, всегда это получалось смешно. Стоило ему раскрыть рот, и все начинали смеяться. Когда в здании школы праздновали Рождество, Реймонда неизменно выбирали Санта-Клаусом из-за того, что голос у него был звучный, лицо красное и, самое главное, он очень любил детей. Он обрушивал на детишек такой мощный поток яростной брани, что они просто умирали от смеха, даже если на нем и не было красного одеяния Санта-Клауса. Видимо, и дети считали его своего рода Санта-Клаусом. Он швырял их в разные стороны, боролся с ними, колотил их, но колотил как-то ласково, так что они приходили в неописуемый восторг. А иной раз он говорил с ними серьезно и говорил такое, что стоило намотать на ус.

Время от времени, чаще всего в субботу утром, мальчишки отправлялись на ферму Бэнкса посмотреть, как Реймонд работает. Он позволял им наблюдать за работой в маленькие окошечки инкубаторов. Случалось им видеть и только что вылупившихся цыплят, которые отряхивали влажные крылышки и неуклюже ковыляли на слабеньких ножках. Реймонд разрешал ребятам брать их в руки целыми пригоршнями. Цыплята пищали, словно сотня несмазанных колесиков.

А потом гости отправлялись к пруду и кормили уток, с важным видом бороздящих водную гладь. Но больше всего ребятам нравилось смотреть, как Реймонд режет кур. И вот что странно: когда Реймонд собирался резать кур, он переставал болтать и шутить и сразу делался очень серьезным.

Реймонд брал петушка и подвешивал его за ноги к деревянной раме. Петух отчаянно хлопал крыльями, тогда Реймонд связывал крылья. Тут же на ящике лежал острый нож. Этот нож, по форме напоминающий копье, с острым, как игла, кончиком, приводил ребятишек в настоящее восхищение.

— Ну, старина, пришел твой черед, — говорил Реймонд.

Мальчишки сбивались в кучу, чтобы лучше видеть. Быстрым, уверенным движением Реймонд хватал петушка за голову, раскрывал ему клюв и молниеносно вводил кончик ножа прямо в мозг. Скрученные проволокой крылья вздрагивали и колотились. Несколько секунд петух конвульсивно дергал шеей, с клюва стекал тоненький ручеек крови.

— Теперь смотрите! — восклицал Реймонд. Растопырив пальцы, он проводил рукой по груди петушка и одним махом выдергивал все перья.

Еще одно движение — и нет перьев на спине. Крылья хлопают уже устало. Вот Реймонд очистил от перьев и крылья, осталось совсем немного, разве что на кончиках. Потом оголяются ноги — по одному движению на каждую.

— Смотрите! Все нужно делать быстро, — объяснял он. — Первые две минуты перья держатся слабо. Если их не вытащить сразу, потом придется повозиться.

Он снимал петушка с рамы, делал два надреза другим ножом, вытаскивал внутренности и бросал их в кастрюлю. Потом вытирал тряпкой окровавленные руки.

— Ой, гляди! — вопили мальчишки. — А это что такое?

— Это сердце.

— Глядите! Оно еще бьется. Оно еще живое.

— Да ничего оно не живое, — спокойно объяснял Реймонд. — Петушок этот помер в ту самую секунду, когда я ножем проткнул ему мозги. Сердце пока еще бьется, а сам петушок давно мертвый.

— А почему вы не отрубаете им голову, как мой папа, мистер Бэнкс?

— Да потому, что так быстрей и чище, да и мясники предпочитают, чтобы голова была на месте.

Она для весу им нужна, понятно? Ну, пойди-ка сюда, старина.

Он засовывал руку в клетку и вытаскивал следующую жертву, которая отчаянно билась в его руках. Зарезав последнего петушка, Реймонд вынимал из кастрюли петушиные зобы, раздавал их ребятам, объясняя при этом, как их вымыть и надуть, чтобы получились воздушные шарики. Когда Реймонд говорил о своей ферме, он всегда был очень серьезен. Он не давал никому из ребят помогать ему резать петушков, хотя его много раз просили об этом.

— Вот вы занервничаете, — говорил он. — И воткнете ножик куда-нибудь не туда, а петушку будет больно.

Миссис Бэнкс много смеялась — звонким, рассыпчатым смехом, временами просто так, без причины. Она смеялась, как бы предвкушая нечто забавное, и, чтобы оправдать ее ожидания, при ней все старались сказать что-нибудь смешное. Закончив работу по дому, она копалась в цветнике. Горожанка — вот и любит цветы, говорили соседи. Гостей, подъезжавших к дому, неизменно встречал высокий звонкий смех Клео Бэнкс, и, услышав его, они сами начинали смеяться. В ее обществе все чувствовали себя рас-

кованно и свободно. Никто не помнил, чтобы она когда-нибудь что-нибудь говорила, но даже через несколько месяцев люди отчетливо вспоминали все модуляции ее смеха.

А вот Реймонд Бэнкс, напротив, смеялся редко. Он, можно сказать, не смеялся вообще, зато всегда ходил с нарочито угрюмым видом, который принимали за проявление своеобразного чувства юмора. Ни к кому так часто не ездили в гости жители долины, как к ним. Время от времени Бэнксы приглашали всех жителей Райских Пастбищ на пикник, который устраивали в дубовой роще у своего дома. Они жарили цыплят на углях из дубовой коры и выставляли целые батареи бутылок домашнего пива. В долине любили эти пирушки — их ждали загодя, а после долго с удовольствием их вспоминали.

Когда Реймонд Бэнкс учился в школе, он дружил с одним мальчиком, который впоследствии стал начальником тюрьмы в Сан-Квентине. Дружба эта не прервалась.

Они писали друг другу, если случалось что-то важное, а на Рождество обменивались какими-нибудь пустячными подарками. Реймонд гордился, что знаком с начальником тюрьмы. Раза два-три в год тот приглашал его в Сан-Квентин

посмотреть на казнь какого-нибудь преступника. Реймонд всегда принимал такого рода приглашения. Эти поездки были единственным развлечением, которое он себе позволял.

Приезжать в Сан-Квентин Реймонд любил с вечера. Старые друзья долго беседовали, вспоминали школу, пересказывали друг другу случаи, всегда одни и те же, которые оба превосходно помнили. А на следующее утро Реймонд отправлялся в тюрьму и со странным удовольствием погружался в ту атмосферу приглушенной истерии, которая неизменно сопровождает совершение смертной казни. Медленное шествие осужденного к месту казни рождало в его душе какое-то трепетное чувство, доставляющее острое наслаждение. При этом главным была не сама казнь — его захватывала волнующая атмосфера всей процедуры в целом. Это было как в церкви, только еще более торжественно, печально, подчинено трагическому ритуалу. Все это вместе вызывало у него ощущение полноты своего бытия, благоговейное чувство, с которым ничто не могло сравниться. Об осужденном Реймонд думал не больше, чем о цыпленке в тот момент, когда протыкал ему ножом мозги. В этом не было ничего похожего на жестокость, никакого смакования

чужих страданий. Совсем не это заставляло его посещать такого рода зрелища. Просто у него развилась тяга к сильным потрясениям, а скудное его воображение неспособно было ее напитать. В тюрьме же перед казнью, когда у всех присутствующих нервы натянуты, он переживал то же, что и остальные… Если бы он оказался в камере смертника один и никого, кроме осужденного и палача, с ним рядом не было, на него это не произвело бы ни малейшего впечатления.

После исполнения смертного приговора все собирались в кабинете начальника тюрьмы. Эти сборища доставляли Реймонду огромное удовольствие. У всех вокруг нервы были взвинчены до предела, они старались шутками и бурным весельем восстановить утраченное душевное равновесие. Они резвились и ликовали, как дети, они шумели куда больше, чем обычно. С уничтожающей иронией относились они к случайному посетителю — обычно это был какой-нибудь молодой репортер, который терял сознание или со слезами на глазах выбегал из камеры. Реймонду нравилось буквально все. Он чувствовал себя живым, все его ощущения становились острее.

После этого следовал отличный обед у его друга, начальника тюрьмы, а затем он возвращался

домой. Нечто похожее, только слабее, Реймонд испытывал, когда ребятишки смотрели, как он режет кур. Ему передавалось их волнение.

Вскоре после того как Мэнро переехали в Райские Пастбища, они прослышали о замечательном ранчо Реймонда Бэнкса. Прослышали они и о его поездках в тюрьму. Жителей долины интересовало, интриговало и порядком пугало то, что человек время от времени отправляется поглазеть, как кого-то вешают. До того как Берт Мэнро увидел Реймонда, тот представлялся ему типичным палачом, этаким долговязым, темным, холодным и бесстрастным, с тусклыми, холодными глазами. Самая мысль о Реймонде вызывала у Берта предчувствие чего-то необычного.

Когда же он наконец встретил Реймонда Бэнкса, увидел его веселые, черные глаза, его спокойное, здоровое, загорелое лицо, Берт разочаровался и в то же время почувствовал отвращение. Здоровье и добросердечие Реймонда уже сами по себе казались неуместными и почему-то непристойными. В его благодушии и любви к детям было нечто неподобающее.

Первого мая Бэнксы устроили очередное пиршество в дубовой роще. Стояла чудная пора, на склонах гор среди свежей травы пестрели люпи-

ны и лесные фиалки. Дубы покрылись свежей листвой, блестящей и чистой, словно их только что помыли. Солнце пригревало уже достаточно сильно, и в воздухе стоял запах полыни. Птицы в полнейшем упоении весело щебетали. Из птичников доносилось довольное квохтанье кур и скептическое кряканье уток.

Возле длинных столов под дубами собралось не менее пятидесяти человек. Сотни бутылочек домашнего пива стояли в лоханях, наполненных солью и льдом — смесь настолько холодная, что пиво у горлышек промерзало. Миссис Бэнкс расхаживала среди гостей, смеялась, приветствуя их или выслушивая приветствия. Она почти ничего не говорила. Реймонд жарил цыплят в ямах на вертелах. Его окружали восхищенные зрители, сопровождавшие процедуру шутливыми советами.

— Если кто-нибудь может приготовить цыпленка лучше, чем я, пожалуйста, милости просим, — кричал Реймонд. — Сейчас поджарю бифштексы для тех ненормальных, которые не едят цыплят.

Неподалеку стоял Берт Мэнро и внимательно следил за красными руками Реймонда. Он отхлебывал из бутылочки крепкое пиво. Берта заворожили сильные красные руки, ворочавшие

вертела с цыплятами.

Когда большие, плоские блюда с жареными цыплятами понесли к столам, Реймонд вернулся к жаровне, чтобы поджарить еще цыплят на случай, если кто-нибудь из гостей захочет отведать второго, а то и третьего цыпленка. Реймонд был сейчас в одиночестве, потому что вся публика столпилась у столов. Берт Мэнро, который ел в это время бифштекс, поднял голову и увидел, что Реймонд сидит один у жаровни. Он отложил вилку и направился к нему.

— Что случилось, мистер Мэнро? Неудачный цыпленок попался? — озабоченно спросил его Реймонд.

— Я ел бифштекс, он был отличный. Не беспокойтесь, я просто быстро ем. А цыплят я не ем вообще.

— Да что вы? Вот уж никогда не мог понять, как это люди могут не есть цыплят, но я слышал, что таких довольно много. Тогда позвольте вам еще один бифштекс, совсем маленький.

— Нет, я уже сыт. Я считаю, люди вообще слишком много едят. Из-за стола надо выходить немного голодным. Тогда всегда будешь в форме, вот как звери, например.

— Пожалуй, это верно, — сказал Реймонд, пово-

рачивая над огнем тушки цыплят. — Я заметил, что чувствую себя лучше, когда ем не очень много.

— Ну, конечно. И я тоже. И каждый, наверно. Мы вообще слишком много едим.

Они дружелюбно улыбнулись друг другу, поскольку достигли согласия в этом вопросе, хотя оба не очень-то в эту истину верили.

— Вам достался хороший участок, — сказал Реймонд, стремясь упрочить их только что возникшую дружбу еще одним утверждением, в котором они тоже могли достигнуть взаимного согласия.

— Да уж не знаю. Говорят, там какая-то нечисть водится, но я пока что ничего такого не встречал.

Реймонд засмеялся.

— Да у нас тут все твердили, что на этой ферме обитают привидения, пока вы не приехали и не привели ее в порядок. А призраков вы еще не видели, а?

— Ни разу. Не так я боюсь призраков, как астрагала[4]. Вот его я просто не выношу.

— Я вас, пожалуй, понимаю. Сам-то я кур раз-

---

[4] Примечания: 4

Астрагал — растение, произрастающее в Северной Америке, ядовитое для скота.

вожу, так что меня это не очень беспокоит, но вот кто скотину держит — им же это просто наказание!

Берт поднял кусочек мяса и аккуратно положил его на тлеющие угли.

— Я слышал, вы знакомы с начальником тюрьмы в Сан-Квентине.

— Да, мы с ним друзья. Еще в школе вместе учились. А вы знакомы с ним, мистер Мэнро?

— Не… нет. Так, время от времени читаю о нем в газетах. О человеке, занимающем такой пост, довольно часто пишут в газетах.

— Да уж, — сказал Реймонд, с гордостью и очень серьезно. — Паблисити у него хватает. Но он славный парень, мистер Мэнро, очень славный, я редко видел таких. И веселый такой, компанейский, при том что у него на руках все эти заключенные. Поговорите с ним, так вам и в голову не придет, какая на нем лежит ответственность.

— В самом деле? Странно. Я вот что имею в виду: если уж на нем, как вы говорите, лежит такая ответственность, он должен был бы выглядеть… ну, более озабоченным. Часто вы с ним видитесь?

— В общем… да, часто. Я говорил вам, мы с ним вместе учились в школе. Так вот, он меня

не забыл. Время от времени приглашает к себе в тюрьму, когда там кого-нибудь вешают.

Берт внутренне содрогнулся, хотя именно к этому он и вел разговор.

— В самом деле?

— Да. По-моему, это большая честь. Не так-то много народу туда пускают, только репортеров и официальных лиц: шерифов там, полицейских. Ну, а кроме того, конечно, каждый раз, как я еду в тюрьму, Эд принимает меня у себя, и хорошо принимает.

Странная вещь случилась с Бертом. Ему казалось, он отделился от своего тела. Голос его звучал как бы сам по себе, помимо его воли. Он услышал, как говорит: «Начальнику тюрьмы, наверно, не понравится, если вы привезете с собой приятеля». Он с удивлением услышал свои слова. Произносить их он совсем не собирался.

Реймонд принялся энергично помешивать угли. Он был явно смущен.

— Право, не знаю, мистер Мэнро. Никогда об этом не думал. А вам, что, хотелось бы туда съездить?

И снова голос Берта заговорил сам по себе.

— Да, — сказал он.

— Ладно, тогда, знаете, что я сделаю. Я напишу

Эду письмо. Я довольно часто ему пишу, понимаете, так что письмо это его не удивит. А в письме я намекну, что мол, вы хотели бы приехать. Тогда, может, на следующий раз он пришлет два приглашения. Хотя обещать я, конечно, ничего не могу. Не хотите ли еще кусочек мяса?

Берт почувствовал, как к горлу подступает тошнота.

— Нет. Я сыт, — сказал он. — Я неважно себя чувствую. Пойду-ка я, пожалуй, прилягу под деревом.

— Может, мистер Мэнро, к вам в стакан дрожжи попали, когда вы это пиво встряхивали: вы наливайте его осторожно.

Берт опустился на потрескивающие сухие листья под дубом. Справа от него стояли столы, окруженные шумной толпой гостей. Хриплый смех мужчин и кокетливые возгласы женщин едва доносились до сознания: слишком занят он был собственными мыслями. За деревьями мелькал Реймонд Бэнкс: он все расхаживал между ямками, где жарились мясо и цыплята для тех, кто еще не утолил свой непомерный аппетит. Тошнота, заставившая его сбежать от Реймонда, мало-помалу превращалась в нечто иное. Удушающе болезненное ощущение сменилось

бурным, рвущим все препоны желанием. Это чувство ошеломило и встревожило Берта. Он не хотел ехать в Сан-Квентин. Для него невыносимо смотреть, как вешают какого-то человека. Но он был рад, что попросился в эту поездку. И эта радость тревожила его. Берт смотрел на Реймонда: тот закатал повыше рукава на своих красных, толстых ручищах и собирался чистить решетки. Берт вскочил и бросился было к нему. И тут вдруг снова поднялась тошнота. Он круто повернулся и зашагал к столу, заваленному обглоданными цыплячьими костями, где его супруга вещала кокетливым пронзительным голоском:

— Мой муж никогда не ест цыплят.

— Я хочу домой, — сказал Берт. — Отвратительно себя чувствую.

Жена положила на тарелку косточки и вытерла руки и губы бумажной салфеткой.

— Что с тобой, Берт?

— Не знаю. Просто мерзко себя чувствую.

— Хочешь, чтобы я с тобой поехала?

— Нет, оставайся. Тебя отвезет Джимми.

— Ладно, — согласилась миссис Мэнро. — Но ты все же попрощайся с мистером и миссис Бэнкс.

Берт упрямо набычился.

— Скажешь им от меня до свидания, — сказал

он. — Я отвратительно себя чувствую. — Он повернулся и широко зашагал прочь.

Спустя неделю Берт Мэнро подъехал на своем форде к ферме Бэнкса и остановился у ворот. Из кустов появился Реймонд. Он только что пытался застрелить ястреба и неудачно. Он неторопливо приблизился и пожал гостю руку.

— Я столько слышал о вашей ферме, — сказал Берт. — Дай, думаю, загляну, посмотрю.

Реймонд был в восторге:

— Одну минутку, вот только ружье отнесу и все вам покажу.

Целый час они ходили по участку. Реймонд показывал что к чему, а Берт восхищался, как тут чисто и как все налажено.

— А теперь давайте зайдем в дом и выпьем по стаканчику пива, — сказал Реймонд, когда они все обошли. — В такой день самое оно выпить холодного пива.

Когда они сидели за столом, Берт смущенно спросил:

— Вы уже написали начальнику тюрьмы, мистер Бэнкс?

— Да… написал. Скоро должен быть ответ.

— Вы, наверно, удивляетесь, почему я об этом спросил. Видите ли, я считаю, человек должен

стараться увидеть как можно больше. Это ведь жизненный опыт. Чем больше человек знает жизнь, тем лучше. Человек должен все знать.

— Я тоже так думаю. Очень верно вы сказали, — согласился Реймонд.

Берт осушил стакан и вытер губы.

— Я, конечно, читаю в газетах, что вот кого-то должны повесить, но ведь это совсем другое дело — все увидеть собственными глазами. Говорят, этим беднягам нужно пройти тринадцать ступенек до виселицы. Правда?

На лице Реймонда появилось сосредоточенное выражение.

— Право не знаю, мистер Мэнро. Я никогда их не считал.

— Как они там… дергаются, рвутся… ну, когда уже висят?..

— Да вроде бы. Вы понимаете, их ведь связывают по рукам и ногам, а на голову надевают колпак из темной материи. Так что много-то не увидишь. Не дергаются, а я бы сказал, дрожь какая-то по телу проходит.

Лицо Берта стало красным, напряженным. Глаза блестели.

— В газетах пишут, проходит от пятнадцати до тридцати минут, прежде чем повешенный

умрет. Это так?

— Да-а, я думаю, примерно так. Вообще-то умирают они в ту самую секунду, когда затягивается петля. Вот как с курицей: отрубят ей голову, а она мечется, крыльями хлопает, но ведь на самом-то деле она мертва.

— Да… наверное, так. Рефлекс, как говорится. Я полагаю, тем, кто впервые на это смотрит, бывает не по себе.

Реймонд снисходительно улыбнулся.

— Ну, еще бы. Почти каждый раз кто-нибудь в обморок падает. Кто помоложе, ну репортеры там, бывает, плачут. Плачут прямо как дети. А иных рвет. По-настоящему рвет, прямо выворачивает. Раз… и весь обед насмарку. Это обычно с новичками бывает, с теми, кто в первый раз. Разопьемте-ка бутылочку пива, мистер Мэнро. Вкусного, холодного, а?

— Это точно, пиво у вас прекрасное, — рассеянно согласился Берт. — Надо попросить у вас рецепт. В доме всегда должно быть пиво на случай жары. А сейчас, мистер Бэнкс, мне надо идти. Спасибо, что показали мне ферму. Я думаю, эти ребята из Петалумы могут у вас поучиться, как надо разводить кур.

Реймонд покраснел от удовольствия.

— Стараюсь идти в ногу со временем. Я дам вам знать, мистер Мэнро, когда от Эда придет письмо.

Следующие две недели Берт Мэнро постоянно нервничал и раздражался. Это было так непривычно, что его жена не выдержала:

— Берт, ты, наверно, заболел. Съезди в город, пусть тебя доктор посмотрит.

— Еще чего! Совсем я не больной, — не соглашался он.

Почти все время он работал на ферме, но глаза его обращались к дороге каждый раз, когда мимо проезжала машина. Наконец, в субботу на своем грузовичке подъехал Реймонд и остановился перед воротами Мэнро. Берт бросил лопату и пошел ему навстречу. Когда встречаются два фермера, они редко заходят в дом. Обычно они неторопливо гуляют по участку. Вот один нагнулся и сорвал травинку, вот другой оборвал листок с дерева и, беседуя, вертит его в руках. Стояло начало лета. Листья на фруктовых деревьях еще не утратили нежный светло-зеленый цвет, но пора цветения уж кончилась и завязались плоды. Вишни начали чуть-чуть розоветь. Берт и Реймонд прогуливались в саду.

— Птицы жирные в этом году, — сказал Берт. —

Они у меня, наверное, все вишни поклевали. — Берт отлично знал, зачем приехал Реймонд.

— Мистер Мэнро, а Эд-то мне написал. Он говорит, вы можете со мной приехать. Правда, много народу туда не пускают, они ведь не хотят, чтобы туда ходили разные там маньяки и удовлетворяли свое болезненное любопытство. Но вы — мой друг, мистер Мэнро, и это совсем другое дело. Мы отправимся в четверг. В пятницу казнь. — Берт шел рядом молча, опустив глаза в землю. — Эд — славный малый. Он понравится вам, — продолжал Реймонд. — С четверга на пятницу мы у него заночуем.

Берт разглядывал прутик, который поднял с земли, повертел его в руках и согнул дугой.

— Я вот все время об этом думаю, — сказал он. — Ничего, если я откажусь в последнюю минуту?

Реймонд удивленно уставился на него.

— Как же так? Я думал, вам хочется туда поехать. Что стряслось?

— Если я вам расскажу, вы решите, что я слабак. Дело в том… я говорю, я думал об этом и… я боюсь. Я боюсь, что потом не смогу выбросить это из головы.

— Да это вовсе не так страшно, как кажется, — уговаривал его Реймонд.

— Может быть. Не знаю. Но боюсь, это не для меня. Каждый ведь по-своему смотрит на такие вещи.

— Это точно.

— Я попробую объяснить вам, что я чувствую, мистер Бэнкс. Вы знаете, я не ем кур. Я никогда и никому не говорю, почему я их не ем. Не люблю — и все. Я втравил вас в это дело и должен все рассказать… ну, вроде как объясниться. — Палочка хрустнула в его руках, он отбросил обломки на землю и сунул руки в карманы.

— В детстве, лет двенадцать мне было, я перед уроками разносил по домам бакалею. Так вот, рядом с пивоваренным заводом жил один старик, калека. Ему отрезали ногу по самое бедро, но вместо деревяшки он носил старомодный костыль — круглая палка и на ней такая выгнутая рукоятка. Ну, вы их помните. Он неплохо передвигался с этим костылем, только немного медленно. Однажды утром я проходил мимо его двора, неся корзину с бакалеей, а старик в это время собирался резать петуха. Это был рыжий род-айлендский петух, такой здоровенный. Я таких отродясь не видел. А может быть, петух мне показался большим, потому что сам я тогда был совсем маленький. Старик зажал под мышкой

костыль и держал петуха за ногу. — Берт остановился, поднял с земли другую веточку, снова согнул ее в дугу. Он заметно побледнел.

— Так вот, — продолжал он, — у старика в другой руке был тесак. Он полоснул петуха по шее, но костыль соскользнул, петух дернулся, и он отрезал ему крыло. И тогда старик вроде как сошел с ума. Он все резал и все не там, не там, всю грудку ему располосовал и живот. А потом костыль еще немного соскользнул. Старик совсем озверел. Он отрезал петуху ногу и при этом угодил по собственному пальцу. — Берт рукавом вытер мокрый лоб. Реймонд носком ботинка ковырял землю.

— Так вот, после этого старик просто бросил петуха на землю и, держась за палец, заковылял к себе в дом. А петух пополз по двору и вывалившиеся его внутренности волочились по земле… он полз и как-то каркал, что ли. — Палочка снова хрустнула в его руках, на этот раз он яростно отшвырнул ее прочь. — Так вот, мистер Бэнкс, с тех пор я никогда не режу кур и ни разу их не ел. Я пробовал есть курятину, но каждый раз мне мерещился этот распроклятый род-айлендский петух, и я представлял себе, как он ползет. — Он впервые посмотрел Реймонду Бэнксу прямо в

лицо. — Представляете, как это было?

Реймонд отвел глаза в сторону.

— Да, да, сэр, наверное, это было ужасно.

Берт снова заговорил:

— Так вот, я и задумался — стоит мне ехать с вами? Ведь может выйти как с тем петухом. Он мне снился в детстве, этот петух, часто снился. Каждый раз, когда у меня портился желудок и ночью меня одолевали кошмары, я видел во сне этого петуха. А теперь, представьте, поеду я с вами смотреть, как кого-то вешают. Ведь, может, это тоже будет мне сниться. Вот недавно в Аризоне повесили одну женщину, и веревка ей голову оторвала. Ну, представьте, что случится такое. Это же в сто раз страшнее, чем любой петух. Да меня это всю жизнь потом будет преследовать.

— Но такого практически никогда не бывает, — возразил Реймонд. — Говорю вам, все это не так страшно, как кажется.

Берт, казалось, не слышал. Его лицо дергалось от ужаса. Казалось, он видит сейчас воочию все то, о чем только что говорил.

— Вот вы говорите, некоторых во время казни рвет, а некоторые теряют сознание. Я понимаю почему. Потому что эти люди представляют себе, что это они сейчас на виселице с веревкой на шее.

Они буквально чувствуют все то, что человек, с которым это происходит. Это и со мной, бывало. Я как-то вообразил себя на месте человека, которого завтра должны повесить. Это страшно, это очень страшно. Это представить себе невозможно. И вот я подумал… на кой ляд мне туда ехать, доводить себя до таких кошмаров? Меня вырвет. Уверен, что вырвет. Я ведь просто пройду через все, что увижу, как проходит этот бедолага висельник. Вчера вечером только подумал об этом, тут же почувствовал у себя на шее веревку. А потом лег спать, накрыл лицо простыней, и мне представилось, что это тот самый черный колпак.

— Слушайте, я вам серьезно говорю, перестаньте вы даже думать такое, — сердито крикнул Реймонд. — Если вы будете об этом думать, вам нельзя со мной ехать. Говорю я вам, это совсем не так страшно. Ничего особенного. Вы сказали, что хотите со мной поехать, я и добыл для вас разрешение. Чего ради вы все это завели? Ни к чему это. Не хотите ехать, так прямо и скажите и заткнитесь после этого.

Из глаз Берта исчезло выражение ужаса. Некий новый страх вытеснил из его сознания кошмары, порожденные его воображением, и он с радостью ухватился за это новое чувство.

— Не нужно злиться, мистер Бэнкс. Я вам просто объяснил, почему я не хочу ехать. Если бы у вас было воображение, вы бы сами это все поняли и не ездили глазеть, как вешают какого-то беднягу.

Реймонд презрительно отвернулся.

— Кишка у вас тонка, — сказал он и зашагал к своей машине. Он как бешеный промчался по дороге к своей ферме, но когда приехал и накрыл грузовичок брезентом, вроде бы успокоился и пошел к дому медленным, размеренным шагом. Его жена срезала розы.

— Что с тобой случилось, Рэй? Ты совсем больной на вид, — воскликнула она с испугом.

Реймонд сделал кислую мину.

— Голова болит, вот и все. Пройдет. Ты знаешь, Берт Мэнро хотел поехать со мной на той неделе?

— Да.

— Так вот, теперь он не хочет ехать.

— А что с ним такое?

— Запсиховал он, вот что с ним такое. Боится на это смотреть.

Его жена нервно рассмеялась.

— Ты знаешь, я и сама тоже навряд ли захотела бы на это смотреть.

— Ты женщина, а он, надо полагать, мужчина.

На следующее утро Реймонд вышел к завтраку какой-то вялый и очень мало ел. Жена забеспокоилась.

— Рэй, наверно, у тебя голова так и не прошла. Тебе надо что-нибудь принять.

Реймонд оставил ее слова без внимания.

— Мне надо написать Эду, а я не знаю, как ему это объяснить.

— Я не поняла, чего ты не знаешь.

— Понимаешь, я боюсь, что я простыл. Я не знаю, может, я и к четвергу не поправлюсь, и тогда я не смогу поехать в Сан-Квентин. Дорога длинная. Надо будет ехать по мосту через залив, а там ветер очень холодный.

Миссис Бэнкс задумалась.

— Слушай, а чего ты его не попросишь как-нибудь приехать к нам? Он у нас никогда не бывал, а ты к нему столько раз ездил.

Лицо Реймонда прояснилось.

— А ведь правда! Это мысль. Я ведь много лет к нему езжу. Черкну-ка я ему письмецо, чтобы он приехал к нам в гости.

— И мы устроим для него пикник, — подхватила миссис Бэнкс.

Лицо Реймонда снова приобрело унылое выражение.

— Да нет, я думаю, не стоит. Близкие друзья встречаются, зачем же собирать толпу. Но пиво, например… ты просто не представляешь себе, до чего он любит пиво. Я черкну ему сейчас письмецо.

Он вытащил ручку, блокнотик и чернильницу. Но как только он взялся за перо, лицо его опять помрачнело.

— Чтоб он сдох, этот Мэнро! Так старался для него. И кто ж его знал, что он вдруг так струсит.

X

Пэт Хамберт родился, когда его родители были уже, что называется, людьми среднего возраста; а когда ему исполнилось двадцать лет, они стали старыми, брюзгливыми и злобными. Вся его жизнь проходила среди старческих недугов, болей и болезней, старческих жалоб и старческой сосредоточенности на себе. К его мнению родители относились пренебрежительно, потому что он был молодым. «Вот поживешь с наше, на все будешь по-другому смотреть», — так говорили они Пэту, когда он был еще мальчиком. Он вырос, и они возненавидели его молодость, ибо молодость избавлена от старческих хворей. Старость представлялась им неким высшим, почти божественным в своей непогрешимости состоянием. Даже ревматизм заслуживал всяческой похвалы — он был платой за глубокую старческую мудрость. Пэту вбили в голову, что ни в чем молодом нет ничего хорошего. Молодость — это всего лишь пора неумелой, робкой подготовки к блистательной старости. И молодость должна думать лишь о своем долге перед старостью, о

долге уважения и благоговения. Старость же, напротив, уважения к молодости испытывать отнюдь не должна.

Когда Пэту было шестнадцать лет, на него свалили всю работу на ферме. Отец удалился от дел, воссел на кресло-качалку, стоявшую в гостиной у печки, и оттуда издавал свои эдикты — отдавал распоряжения, указания и критические замечания.

Хамберты обитали в старом, нескладно построенном доме из пяти комнат: постоянно запертая на замок большая гостиная, холодная и жуткая, как смерть; маленькая гостиная, душная, жаркая, где стоял невыносимый запах аптеки; две спальни и довольно просторная кухня. Старики, подсунув под себя подушки, сидели в качалках и костерили Пэта почем зря, если он забывал вовремя подбросить в печку дров. К концу жизни они его просто ненавидели, ненавидели за то, что он был молод.

Жили они долго. Пэту стукнуло тридцать, когда его родители (оба в один месяц) отправились на тот свет. Они вечно жаловались, вечно были недовольны своей жизнью и считали себя несчастными. Тем не менее они крепко цеплялись за это жалкое существование и умерли

только после долгой борьбы.

Два месяца Пэт жил в сплошном кошмаре. Три недели он ухаживал за матерью. Она лежала неподвижно и шумно, хрипло дышала. Он укладывал ее поудобней, оправлял постель, а она следила за ним пристальным, укоризненным взглядом. Даже мертвая, она, казалось, глядела на него с осуждением.

Пэт открыл дверь большой гостиной: там шло отпевание, соседи рядами сидели у гроба и чинно слушали. Из спальни слышался раздраженный плач отца.

Сразу же после похорон слег отец, и Пэт ухаживал за ним еще три недели. А потом в гостиной был поставлен новый гроб, и чинные соседи снова явились на панихиду и расселись рядами у гроба. Когда родители Пэта были живы, большую гостиную всегда запирали на ключ и открывали только раз в месяц — прибраться. Жалюзи всегда были спущены, чтобы не выгорели на солнце зеленые ковры, посреди гостиной стоял столик на позолоченных ножках с мраморной столешницей, на нем тканная под гобелен скатерка («Вечерний звон» Милле), а на ней Библия в тисненом переплете. По обе стороны от Библии помещались две приземистые вазы с букетами

бессмертника. У стен в строгом порядке стояли четыре стула — два для гроба и два для посетителей. Кроме того, висели там еще три большие картины в позолоченных рамах — две были, собственно, не картины, а цветные увеличенные фотографии стариков Хамбертов с суровыми, неподвижными лицами. Сняты они были так мастерски, что непрошеный посетитель гостиной, где бы он ни остановился, все время чувствовал на себе их тяжелый взгляд. Третья картина изображала челн, в котором покоилось тело Элен[5]. Челн плыл по печальной мелководной реке, и край покрывала свешивался в воду. В углу стоял еще один столик, а на нем под высоким стеклянным колпаком сидели на вишневой ветке чучела трех иволг. Могильным холодом веяло от этой комнаты, и посещали ее только покойники и те, кто провожал их в последний путь. Это был своего рода домашний морг. Пэт помнил, как отсюда унесли на кладбище трех его теток и дядюшку.

На кладбище Пэт стоял тихо и смотрел, как его соседи возятся с могилой. Могила матери уже успела немного осесть, холмик прорезала зигзагообразная трещина. Соседи уже утрамбова-

---

[5] Примечания: 5

Женский персонаж из легенды «Король Артур и рыцари Круглого стола».

ли вторую могилу и похлопывали ладонями по холмику свежей земли. Они привыкли работать с землей и любили хорошую работу; борозда ли, могила — им было все равно. Приведя ее в полный порядок, они еще немного потоптались вокруг, что-то подправляя напоследок. Женщины уже разошлись и ожидали мужей около экипажей. Мужчины по очереди подходили к Пэту, чтобы пожать ему руку, и бормотали нечто сочувственное и печально-торжественное. Затем фургоны, коляски, тележки длинной процессией двинулись прочь и одна за другой скрылись из глаз. А Пэт все стоял и неподвижно смотрел на могилы. Он не знал, что ему делать. Никто теперь ничего от него не требовал.

Пряно пахло осенью, порывистый ветерок вдруг срывался с места и замирал на полпути. На кладбищенской ограде неподвижно сидели дикие голуби и все глядели в одну сторону. Ветер гнал по земле клочок старой потемневшей газеты. Клочок прилип к его ботинкам. Пэт наклонился, поднял бумажку, глянул на нее и кинул обратно. На дороге послышался стук колес. Т. Б. Аллен привязал лошадь к ограде и направился к Пэту. «А мы думали, ты нынче куда-нибудь пойдешь, — сказал он смущенно. — Хочешь, заходи к

нам поужинать… А то и заночуешь».

Оцепенение, навалившееся на Пэта, наконец-то его отпустило. «Надо бы куда-нибудь отсюда уехать», — сказал он. Потом с трудом нащупал следующую мысль: «Что толку мне здесь торчать».

— Да, пожалуй, тебе лучше уехать, — сказал Аллен.

— Это трудно, мистер Аллен. Сдается мне, иной раз я хочу это забыть, а иногда, наоборот, мне нужно об этом помнить. Но уехать трудно, потому что если уедешь, то уж точно знаешь — все… конец…

— Слушай, а чего бы тебе в самом деле не зайти к нам поужинать?

Пэт перестал скрытничать и откровенно сказал:

— Я всю жизнь ужинал только дома. Они… — Он кивнул в сторону могил. — Они не любили выходить из дому, после того как стемнеет. Ночной воздух был им вреден.

— Так вот я и говорю, не лучше ли тебе у нас покушать. И не ходи ты нынче ночевать в свой пустой дом. Надо же себя хоть чуточку пожалеть. — Он схватил Пэта за руку и потащил к воротам. — Садись к себе в фургон и поезжай за

мной. — Когда они выходили из ворот, мистер Аллен испытал некое элегическое настроение. — Хорошо умереть осенью, — сказал он. — Вот весной скверно помирать. Не знаешь, когда пройдут дожди и какой урожай будет, не знаешь. А осенью уже все кончено.

— Им это было без разницы, мистер Аллен. Они никогда не спрашивали меня, какой будет урожай. А дождя они терпеть не могли из-за ревматизма. Они просто хотели жить. Не знаю почему.

На ужин была холодная говядина, жареная картошка с луком и хлебный пудинг с изюмом. Миссис Аллен все время говорила о его родителях, вспоминала, какие это были хорошие, добрые люди, какой честный человек был его отец, какая знаменитая кулинарка была его мать. Пэт знал, что все это она выдумывает, чтобы утешить его, а ему сейчас это было не нужно. Он не испытывал горя. Что-то густое и тяжелое, как летаргический сон, навалилось на него, мешая говорить и двигаться.

Ему все вспоминалось, как во время похорон, когда поднимали стоявший на двух стульях гроб, один из носильщиков задел столик с мраморной столешницей, опрокинул вазу с бессмертниками

и сдвинул Библию и тканную под гобелен скатерку. Пэт чувствовал, что приличия ради надо расставить все по прежним местам. Придвинуть стулья к стенкам, положить ровненько Библию. А потом снова запереть гостиную. В память о матери он должен был все это сделать.

Аллены уговаривали его переночевать, но он отказался. Немного погодя он, пожелав им довольно вяло доброй ночи, потащился запрягать лошадь. Над головой чернело холодное осеннее небо, покрытое яркими колючими звездами, надвигалась прохлада, и горы гудели, отдавая тепло. Сквозь оцепенение Пэт слышал цоканье копыт по дороге, крик ночных птиц, шелест ветра в опавшей листве. Но куда отчетливее звучали в его ушах голоса стариков. «Будет мороз, — говорил отец. — Ненавижу мороз… хуже крыс». Тут подключился голос матери: «Он еще говорит о крысах. Мне кажется, у нас в погребе завелись крысы. Интересно, Пэт поставил крысоловки? Я ему еще в том году велела их поставить, а он все забывает».

Пэт ответил:

— Я положил в погреб отраву. Так лучше.

«Лучше всего завести кошку, — раздался хнычущий голос матери. — Не понимаю, почему бы

нам не завести кошку, а то и двух. У Пэта никогда не было кошек».

— Заводил я кошек, мама, но они предпочитают гоферов[6], а потом вообще дичают и убегают из дома. Нельзя нам кошек тут держать.

Дом стоял черный и невыразимо мрачный. Пэт зажег лампу и развел в печке огонь, чтобы протопить кухню. Когда в печи загудело пламя, он опустился в кресло и наконец почувствовал себя уютно. Вот было бы хорошо, подумал он, перенести в кухню кровать и спать тут, возле печки. Привести дом в порядок можно и завтра или в конце концов как-нибудь в другой раз.

Когда он распахнул дверь в гостиную, на него накатила волна холодного безжизненного воздуха. В нос ударили запахи погребальных цветов, старости и лекарств. Он быстро прошел к себе в спальню, забрал раскладушку и перетащил в теплую, освещенную кухню.

Немного погодя Пэт задул лампу и лег спать. В печке тихо потрескивал огонь. Некоторое время было тихо, затем постепенно дом заполнили зловещие шорохи и шумы. Пэт лежал на раскладушке, похолодевший от страха, и при-

---

[6] Примечания: 6
Млекопитающее отряда грызунов.

слушивался к звукам, которые доносились из гостиной, к скрипу качалок, к шумному дыханию стариков. Старый дом потрескивал, и хотя Пэт это понимал, он каждый раз вздрагивал, как сумасшедший, и весь взмок от холодной испарины. Тихий и какой-то пришибленный, выбрался он из постели, запер дверь в гостиную и снова, дрожа, залез под одеяло. Стало очень тихо и очень одиноко.

Наутро Пэт проснулся со смутным ощущением, что ему предстоит исполнить неприятный долг. Он начал вспоминать, что же это за долг, и вспомнил. Да, конечно, Библия. Ее сдвинули, и теперь она лежит не на месте. Нужно положить ее так, как она лежала раньше. Потом надо поставить упавшую вазу с бессмертниками и прибраться в доме. Пэт сознавал, что все это он должен сделать, хотя ему ужасно не хотелось открывать дверь в гостиную. Его бросало в холод при одной мысли о том, что он там увидит: две качалки с продавленными подушками на сиденьях, стоящие по сторонам очага. Эти продавленные подушки словно хранили отпечаток тех, кто на них сидел. Он представил себе запахи старости, мазей, увядших цветов, поджидающие его по ту сторону двери. Но это его долг, надо его исполнить.

Он разжег огонь и приготовил завтрак. И вот, когда он пил горячий кофе, откуда ни возьмись вдруг нагрянули новые мысли, совсем для него непривычные. Необычные эти мысли сперва ошеломили его своей дерзостью и простотой.

«А зачем мне туда идти? — подумал он. — Ухаживать мне теперь не за кем, да и вообще там никого нет. Не хочу я туда идти и не пойду». Он почувствовал себя как мальчишка, который сбежал с уроков и отправился гулять в чудесный густой лес. Но, подавляя это чувство неожиданно обретенной свободы, в ушах у него зазвучал жалобный голос матери: «Пэту нужно прибрать в доме. Пэт неряха, ему на все наплевать».

И тут вдруг радость неповиновения вспыхнула в нем. «Ты умерла! — сказал он голосу. — Ты существуешь только в моем воображении. Никто теперь не ждет, что я что-то буду для него делать. Никто теперь не узнает, что я должен был что-то там сделать и не сделал. Не пойду я туда. И вообще никогда не пойду». И пока храбрость не покинула его, Пэт решительно подошел к двери, рывком вытащил ключ и забросил в густые заросли сорняков, растущие за домом. Он закрыл ставни на всех окнах, кроме кухонных, и накрепко прибил их большими гвоздями.

Но радость внезапно обретенной свободы продолжалась недолго. Днем он был занят на ферме, а поближе к вечеру начинал скучать по своим прежним обязанностям, которые так легко и привычно поглощали часы его досуга. Он понимал, что боится войти в дом, боится следов старческих тел на подушках и неровно лежащей Библии. Он запер в доме двух изможденных старых призраков, но запретить им тревожить его он был не властен.

В этот вечер, приготовив себе ужин, он сел возле печки. Жуткое, безысходное одиночество, как туман, окутало его. Он прислушивался к звукам старого дома. То здесь, то там что-то шуршало, потрескивало, постукивало. Он прислушивался с таким напряжением, что скоро смог различать, как за стеной скрипят, покачиваясь, качалки, а один раз даже отчетливо услыхал скрежет крышечки, которую отвинчивали от банки с мазью. Пэт больше не мог этого выносить. Он пошел в конюшню, запряг лошадь и поехал в лавку.

Трое мужчин сидели возле пузатой печки и созерцали трещины на ней. Они подвинулись, Пэт поставил стул и сел. Никто из них даже не посмотрел на него, ибо человек в трауре заслуживает такой же социальной неприкосновенности,

как калека. Пэт сел поудобней и тоже уставился на печку.

— Мне надо купить муки. Напомните мне, как буду уходить, — сказал он.

И все поняли, что он имел в виду. Все знали, что муки ему не нужно, но каждый в подобных обстоятельствах изобрел бы какой-нибудь предлог. Т. Б. Аллен приоткрыл дверцу печки, заглянул туда и плюнул на горящие угли.

— Поначалу в таком доме чувствуешь себя довольно-таки одиноко, — заметил он.

Пэт был благодарен ему, хотя, сказав эту фразу, лавочник допустил изрядную бестактность.

— Мне еще надо будет купить табаку и патронов, мистер Аллен, — сказал он. Так он хотел выразить свою благодарность.

После этого Пэт резко изменил образ жизни. Он стал искать общества: днем работал на ферме, зато вечером неизменно оказывался там, где собралась какая-нибудь компания. Когда устраивали танцы или вечеринку, Пэт появлялся раньше всех, а уходил последним. Он был частым гостем у Джона Уайтсайда; он самым первым прибегал на пожары. В дни выборов он вертелся на избирательном пункте до тех пор, пока его не закроют. Если где-нибудь собиралось несколько

человек, одним из них неизменно оказывался Пэт. Со временем у него выработался какой-то особый нюх на всякие события, способные собрать толпу.

Пэт был некрасивый, долговязый, с большим носом и тяжелой челюстью. Он сильно смахивал на молодого Линкольна, и одежда сидела на нем так же нескладно. Его большие уши и широкие ноздри густо заросли волосами. Казалось, там притаились пушистые зверьки. Собеседник он был никудышный. Он знал, что в любой компании от него мало толку, и старался возместить это постоянной и даже чрезмерной услужливостью. Он был неизменно готов помочь, броситься что-то устраивать. Он радовался как мальчик, когда его избирали в очередной комитет по организации какой-нибудь вечеринки или танцев, что давало ему возможность ездить к другим членам комитета и обсуждать всевозможные планы; иной раз он целый вечер возился, украшая школу (где эти вечеринки обычно и происходили), или разъезжал по всей долине на своем грузовичке, одалживая у фермеров стулья и посуду. Если же вечером ему некуда было приткнуться, он отправлялся на своем грузовичке в Салинас, шел в кино и смотрел подряд два сеанса. Проведя две

первые после похорон ночи в жутком одиночестве, он никогда больше по вечерам не сидел дома. Когда он вспоминал о Библии, о качалках и старческих запахах, его охватывал страх.

Вот уже десять лет Пэт Хамберт метался в поисках общества. Он добился, что его выбрали в попечительский совет; успел сделаться масоном, вступить в Тайное братство в Салинасе и никогда не пропускал собраний.

Несмотря на то что он так рьяно рвался к людям, ни в одну компанию Пэт не входил прочно. В любом сборище он обретался где-то сбоку и раскрывал рот лишь тогда, когда кто-нибудь к нему обращался. Жители долины воспринимали его присутствие как нечто неизбежное. Они его нещадно эксплуатировали и при этом едва ли догадывались, что именно это ему и нужно.

Когда очередное сборище заканчивалось и Пэту волей-неволей приходилось возвращаться домой, он заводил свой грузовой фордик в гараж и обессиленный валился в постель. Он старался не думать об ужасных стариковских комнатах, но безуспешно. Случалось, в его сознание прокрадывалась жуткая картина: запертая комната, мебель, покрытая толстым слоем пыли, паутина в углах. И если, прорвав все защитные барьеры,

это зрелище вламывалось в его сознание прежде, чем он засыпал, Пэт трясся под одеялом как в лихорадке и горстями принимал снотворное.

Поскольку Пэт ненавидел свой дом, он, разумеется, о нем не заботился. В доме царило запустение. Белые розы, которые до этого множество лет представляли собой приземистые кустики, внезапно пробудились к жизни и поползли вверх по фасаду дома. Они укрыли крыльцо, гирляндами опутали закрытые ставнями окна, длинными лентами свисали с крыши. Через десять лет дом напоминал огромный могильный холм из роз. Проезжающие по дороге люди останавливались, пораженные его размерами и красотой. Пэт почти не замечал цветов. Он никогда не думал о доме, если, конечно, это ему удавалось.

У Хамбертов была хорошая ферма. Пэт содержал ее в порядке, и она приносила порядочный доход, а поскольку расходы его были невелики, на его счету в банке уже лежало несколько тысяч. Пэт любил свою ферму, любил тем более за то, что она хотя бы днем ограждала его от страхов. Пока он работал, он был свободен от ужаса бесприютности и леденящего сознания своего одиночества. Сад давал великолепные фрукты, но он предпочитал возиться с ягодами. Вдоль дороги

зеленели шпалеры виноградника. Каждый год он неизменно оказывался первым, кто вывозил на рынок виноград и ягоды.

Пэту стукнуло сорок, когда в долину приехала семья Мэнро. Он встретил их приветливо: вот еще один дом, куда можно зайти убить вечер. Берт Мэнро был человек общительный и радовался, когда Пэт заглядывал к нему. Пэт был отличный фермер, и Берт часто спрашивал его совета. Пэт не обращал особого внимания на Мэй Мэнро; правда, заметил, что она хорошенькая, но тут же забыл об этом. Люди редко интересовали его сами по себе, они были для него скорее противоядием от одиночества, убежищем, где он спасался от запертых в доме призраков.

Однажды днем, в начале лета, Пэт копался в своем винограднике. Он опустился на колени между двумя шпалерами и тяпкой разрыхлял землю. Виноград созревал быстро, и листья были красивые, бледно-зеленые. Пэт медленно пробирался в зеленом коридоре. Ему нравилось работать, и он не боялся надвигающейся ночи, поскольку собирался в тот день ужинать у Мэнро. Вдруг со стороны дороги послышались голоса. Хотя дорогу полностью скрывали заросли виноградника, Пэт понял, что это миссис Мэнро и ее

дочка Мэй. Внезапно Мэй воскликнула:

— Мама, да ты только посмотри! — Тут Пэт перестал работать и весь обратился в слух. — Ты когда-нибудь видела такие великолепные розы?

— Да, и правда красиво, — сказала миссис Мэнро.

— А я поняла сейчас, что они мне напоминают, — продолжала Мэй. — Помнишь ту открытку? Там был нарисован этот чудесный дом в Вермонте? Нам ее прислал дядюшка Келлер. Этот дом, весь в розах, он же в точности как на открытке. Вот бы хорошо и внутри его посмотреть.

— Ну, милочка, это уж навряд ли получится. Миссис Аллен говорит, что с тех пор, как умерли родители Пэта, в этом доме ни разу не было гостей, хоть прошло уж десять лет. А красиво ли там, внутри, она мне не сказала.

— Что ты, если дом весь в розах, он и внутри непременно красивый. Интересно, мистер Хамберт нам как-нибудь позволит посмотреть его комнаты? — Тут голоса стали удаляться и затихли.

Они ушли, а Пэт все стоял и разглядывал свой огромный розовый цветник. Он никогда не замечал, как он прекрасен — целая гора зелени и снежно-белых цветов.

— А красиво, — сказал он. — И похоже на тот самый чудесный дом в Вермонте. Похоже на дом в Вермонте и… М-да, а ведь действительно красиво.

А затем, словно взгляд его обладал способностью проникать сквозь стены, он увидел большую гостиную. И, чтобы забыть о своем страшном доме, он снова принялся за работу. Но снова и снова звучали у него в ушах слова Мэй: «Он, наверно, и внутри такой же красивый». Интересно, подумал Пэт, а как выглядит изнутри тот самый вермонтский дом? Он, конечно, видел дом Джона Уайтсайда, основательный и величавый. Как и все жители долины, он восхищался плюшевым уютом домика Берта Мэнро, но ни одного по-настоящему красивого дома он никогда не видел. Он перебирал в уме все виденные им дома, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с тем домом, о котором говорила Мэй. Ему вспомнилась картинка из какого-то журнала: комната со сверкающим паркетом, белые двери, внутренняя лестница. Почему-то эта картинка ему запомнилась. Наверное, Мэй говорила о чем-то в этом роде.

Ему до смерти захотелось увидеть эту открытку, но Пэт не решался ее попросить, ведь тогда Мэнро

сразу догадаются, что он подслушивал. Чем больше он думал об этом, тем сильнее разгоралось в нем желание увидеть этот дом, такой красивый и такой похожий на его собственный. Он отложил тяпку и стал расхаживать перед фасадом своего дома. В самом деле розы были великолепны. Они балдахином накрывали крыльцо, словно тент, нависали над слепыми окнами. Пэт не понимал, как это до сих пор он мог не заметить такой красоты.

Этим вечером он совершил совершенно неожиданный поступок. Явившись к Мэнро, он с порога сообщил, что никак не может принять его приглашения на ужин.

— У меня дело в Салинасе, очень важное и срочное дело, — пояснил он. — Я должен ехать прямо сейчас, иначе я потеряю солидную сумму.

В Салинасе он немедленно отправился в публичную библиотеку.

— У вас есть рисунки каких-нибудь домов в Вермонте… но обязательно красивых? — спросил он библиотекаршу.

— Поглядите в журналах, может, что и найдете. Пойдемте! Я покажу вам.

Он засиделся допоздна. Служащим библиотеки пришлось даже напомнить ему, что библиотека

закрывается. Зато он нашел рисунки интерьеров, да еще каких! Ему такие и не снились. В этих комнатах все было по плану: отделка, мебель, стены и полы были каким-то образом связаны между собой. Они были частью единого целого. Он долго разглядывал рисунки и чувствовал, как в нем пробуждается глубоко запрятанное в недрах его существа эстетическое чувство — вкус к форме, цвету, линии. Прежде он не понимал, что комната может представлять собой нечто единое — все связано, каждая вещь на своем месте. Все комнаты, которые ему приходилось видеть, обставлялись случайно и постепенно. Тетушка Софи прислала вазу, отец купил кресло. Вместо камина сложили печь, — так было теплей; хлебная компания Сперри выпустила большой рекламный проспект, матери понравилась картинка, и она засунула ее в рамку; магазин «товары почтой» объявил о продаже торшеров — вот появился торшер. Вот так, помаленьку, и обставлялись комнаты. А на картинках все было иначе. Там существовала идея, и каждая вещь в комнате была подчинена этой идее. Перед самым закрытием библиотеки ему попались на глаза две напечатанные рядом иллюстрации. На одной была изображена примерно такая комната, кото-

рые ему частенько приходилось видеть, а прямо рядом была другая иллюстрация — та же комната, только из нее убрано все барахло, все лишнее, и в ней появилась идея. Ее нельзя было узнать. Впервые в жизни Пэт рвался домой. Ему хотелось полежать в постели и подумать: странная новая мысль зашевелилась в его голове.

Ночью он не мог уснуть. Его просто распирало от изобилия планов. Один раз он даже встал и зажег свет, чтобы взглянуть на свой банковский счет. Незадолго до рассвета он оделся, приготовил себе завтрак и, покуда сидел за столом, все поглядывал на запертую дверь. Его глаза злорадно поблескивали. «Там будет темно, — подумал он. — Прежде чем войти, надо открыть ставни».

Когда наконец рассвело, он с ломиком в руках обошел вокруг дома, выдергивая гвозди, которыми были приколочены ставни, и широко открывая окна. Он не тронул только окна большой гостиной, — не хотел ломать розы. Покончив с этим, он вернулся в кухню и остановился перед запертой дверью. Все то же страшное видение возникло перед ним, и он не решался войти. «Ладно! Одна секунда, и все! — успокоил он себя — Я там все в клочья разнесу!» Ломик с грохотом обрушился на замок. Жалобно взвыли несмазанные

петли, дверь распахнулась, и перед ним предстала комната его ночных кошмаров. Казалось, в комнате стоит туман — все затянуло паутиной; разило затхлостью, кислятиной и старостью. По бокам порыжевшей печки стояли две качалки. Даже сквозь пыль и паутину можно было разглядеть вмятинки на подушках. Но самое страшное было не это. Пэт отлично знал, где находится средоточие его кошмаров. Он быстро прошел в большую гостиную, отводя руками паутину, которая все время лезла в глаза. В комнате было темно, ведь он не стал открывать там ставни. Долго искать столик с мраморной столешницей не пришлось: Пэт точно знал, где он находится. Не зря же этот кошмар преследовал его десять лет. Он схватил столик вместе с Библией, бегом промчался через кухню и вышвырнул их во двор.

Теперь он мог не торопиться. Страх ушел. Набрякшие от дождя рамы так заело, что открыть их удалось, только действуя ломиком, как рычагом. Прежде всего он выбросил качалки, и они покатились, подпрыгивая на кочках, вслед за ними отправились картины, безделушки и чучела иволг. Когда Пэт повыбрасывал из дома всю мебель, одежду, коврики и вазы, он принялся сдергивать со стен ковры, и, с трудом протис-

нув их сквозь окна, выкинул и их. Наконец он принес несколько ведер воды и облил потолок и стены. Вся эта работа доставляла ему огромное наслаждение. Выбрасывая стулья, он заодно обламывал им ножки. Потемневшие от старости обои медленно впитывали воду. Тем временем Пэт подобрал валявшуюся под окнами мебель, сложил ее в кучу и зажег костер. Заплесневелая старая ткань и лакированное дерево не хотели разгораться, лениво тлели, испуская невыносимый, сырой и пыльный смрад. И лишь когда он выплеснул в костер ведро керосина, языки пламени взметнулись в воздух. Столы и стулья оглушительно трещали. Казалось, таившиеся в них призраки прыгают в костер. Пэт обозревал дело своих рук.

— Вы что? Так бы и просидели там все время, да? — выкрикнул Пэт. — Думали, слабо мне вас сжечь! Вот бы вы и в самом деле оказались здесь и поглядели, что я сейчас сделаю, вы, трухлявое, вонючее барахло!

Зеленые ковры сгорели дотла, от них остались лишь красные тлеющие хлопья. Старинные вазы и кувшины от жары с треском разлетались на куски. Пэт слышал, как шипит ментол, как лопаются пузырьки и снадобья выкипают на огне.

Он чувствовал, что казнит сейчас своего лютого врага. И лишь когда куча вещей превратилась в тлеющие угли, он вернулся в дом. К тому времени обои промокли насквозь и отваливались от стен длинными широкими лентами.

В тот же день Пэт съездил в Салинас и скупил там все журналы, посвященные искусству украшения и отделки жилищ. Вечером, после обеда, он засел за журналы и наконец нашел именно то, что ему было нужно. В отличие от прочих, эта комната не вызывала у него никаких возражений. А сделать ее было очень просто. Стоило лишь снести перегородку между маленькой и большой гостиной и получилась бы комната длиной в тридцать футов и шириной в пятнадцать. Окна в ней нужно расширить, камин сделать большой, пол отциклевать и натереть. Все это он, конечно, сумеет. У него чесались руки поскорее взяться за работу. «Начну завтра же», — решил он. Тут его остановила новая мысль: «Она думает, у меня уже сейчас красиво. Незачем ей знать, что я к этим делам только лишь приступаю. Тогда она поймет, что я подслушивал. И вообще не надо, чтобы кто-нибудь об этом знал. Еще спрашивать начнут». И тут же сам спросил себя, а зачем, собственно, ему это нужно. «Не их собачье

дело, — ответил он себе. — Что я, пойду и начну всем и каждому рассказывать, зачем да почему. Да ну их к лешему! Буду работать по ночам». Пэт даже рассмеялся про себя. При мысли, что он будет тайно переделывать свой дом, его охватил восторг. Работать он будет один, и об этом никто не узнает. А потом, когда все будет кончено, он пригласит гостей: мол, у меня так всегда было. Никто и не вспомнит, как все это выглядело десять лет назад.

С тех пор жизнь его пошла так: днем он работал на ферме, а по вечерам, полный радостного нетерпения, бросался в дом. Пэт вырезал из журнала рисунок, изображавший комнату в ее законченном виде, и повесил его на кухне, прикрепив кнопками к стене. Он забегал посмотреть на нее по двадцать раз в день. Когда он прилаживал подоконники, оклеивал стены французскими серыми обоями, красил рамы и двери кремовой эмалью, он представлял себе, как все это будет выглядеть. Когда ему были нужны какие-нибудь краски или инструменты, он отправлялся в Салинас поздно вечером, а домой приезжал уже затемно. Работал он до полуночи, а потом в счастливом изнеможении ложился спать.

Соседи стали замечать, что он перестал появ-

ляться в компаниях. Пошли расспросы, но у Пэта ответ был подготовлен заранее. «Я поступил на заочные курсы, — объяснял он. — Приходится заниматься по вечерам». Соседи слушали его с улыбкой. Ясное дело: не так-то легко перенести одиночество. Рано или поздно все холостяки становятся чудаковатыми.

— А что ты там учишь, на этих курсах, Пэт?

— Что? Ого-го! Я изучаю… строительное дело.

— Жениться тебе надо, Пэт. Который год один сидишь.

Пэт бурно краснел. «Чушь собачья», — говорил он.

Отделывая комнату, Пэт одновременно разрабатывал сюжет небольшой пьесы, и получалось у него следующее: работа закончена, все стоит на своих местах. В камине полыхает огонь, лампы отбрасывают тусклые блики на полированную мебель и сверкающий пол. «Я зайду к ним в дом и скажу, эдак небрежно, как бы невзначай: «Говорят, вам нравятся вермонтские дома». Нет! Не так, я скажу. Я скажу вот так: «Вам нравятся вермонтские дома? Кстати, моя гостиная примерно в том же стиле». Продумать все до конца ему никогда не удавалось. Ему никак не удавалось придумать, как заманить ее в дом. Эту часть он

опускал. Как-нибудь само собой получится.

Итак, она входит в кухню. Там все без перемен, — тем сильнее поразит ее то, что ждет ее в гостиной. Она остановится у порога, и он широко распахнет перед ней дверь. В гостиной будет довольно темно, или, точнее, она будет наполнена тусклым светом. Отблески огня в камине струятся, как река, и падающий от ламп свет туманными бликами отражается на полу. Можно еще повесить портьеры из вощеного ситца и коврик с жирным тигром над камином. Латунь поблескивает со сдержанным великолепием. Здесь так уютно, так тепло. От восторга у Пэта перехватило дыхание.

Ну, ладно, вот она стоит в дверях и… что она скажет? Ну, если она будет чувствовать то же самое, что чувствует он, может быть, она ничего не скажет. Может быть, ей даже захочется плакать. А ведь это замечательно — когда ты готов заплакать от полноты чувств. Возможно, она простоит так минуту-другую, рассматривая комнату. Потом Пэт скажет: «Не угодно ли войти и присесть на минуту?» И, конечно, эта фраза развеет чары. Она заговорит о комнате, заговорит, наверное, такими забавными отрывистыми фразами. Но Пэт сохранит хладнокровие. «Да, — скажет он

небрежно. — Она мне в общем-то всегда нравилась». Работая, он часто бормотал себе под нос: «Да, мне всегда казалось, что здесь довольно мило. Вот я и подумал, может, вам захочется на нее взглянуть».

Пьеса заканчивалась так: Мэй садилась перед камином в мягкое кресло, сложив свои хорошенькие, пухлые ручки. Так она сидела, и постепенно в ее глазах появлялось мечтательное выражение… В своих мечтах Пэт никогда не заходил дальше этого момента. Ему мешала застенчивость. Развивать сюжет дальше — это все равно, что заглянуть в окошко к паре, пожелавшей остаться наедине. А кульминацией этой пьесы, несомненно, был тот момент, когда он распахивал дверь, и Мэй замирала на пороге, ошеломленная красотой его гостиной.

За три месяца Пэт управился с отделкой, положил иллюстрацию из журнала в бумажник и отправился в Сан-Франциско. В конторе мебельной компании он выложил картинку на стол.

— Мне нужна вот такая мебель, — сказал он.

— Вы, конечно, имеете в виду не оригиналы.

— То есть как это оригиналы?

— Ну… старинную мебель. Дешевле чем за тридцать тысяч ее не купить.

У Пэта вытянулось лицо. Мечта о комнате, казалось, рухнула.

— А… А я и не знал.

— Мы можем сделать хорошие копии, — успокоил его управляющий.

— А, ну что ж. Это было бы прекрасно. А сколько это будет стоить?

Был призван агент по закупкам. Втроем они перебрали все, изображенное на картинке, и управляющий составил список: сервировочный столик, раздвижной с откидной крышкой стол, кресла — одно деревянное резное, второе с плетеным сиденьем и третье мягкое, с высокой спинкой, каминная скамеечка; лоскутные коврики, портьеры из вощеного ситца, лампы с матовыми стеклянными абажурами и хрустальными подвесками, горка и расписной тонкий фарфор, подсвечники из латуни и канделябры.

— М-да, это будет стоить примерно три тысячи, мистер Хамберт.

Пэт нахмурился. А собственно зачем копить деньги?

— Когда вы сможете мне все это прислать? — спросил он.

В ожидании известия о том, что мебель прибыла в Салинас, Пэт ежедневно натирал полы и

довел их до такой кондиции, что они заблестели, как тихая гладь озера. Из гостиной он выбирался задом, затирая за собой щеткой чуть заметные следы. Но вот контейнеры с мебелью прибыли на грузовую станцию. Чтобы перевезти их, ему пришлось сделать на своем грузовичке четыре рейса, причем каждый раз ночью, тайком. В воздухе запахло интригой.

Пэт распаковал контейнеры в гараже, внес в комнату кресла и столики и, сверяясь с картинкой, расставил их по местам. В ту ночь отблески огня рекой текли из камина, а на натертом полу отражались блики ламп, заключенных в матовые абажуры. Жирный тигр на коврике подрагивал в танцующем свете пламени.

Пэт вышел на кухню и затворил дверь. Потом снова, очень медленно, он открыл ее и остановился на пороге. Комната словно излучала радужную теплоту. Блеск латуни был еще великолепнее, чем он воображал. На краешках блюд, расставленных в горке, вспыхивали искры. Пэт стоял молча, он пытался подобрать самую подходящую интонацию. «Она мне в общем-то всегда нравилась, — сказал он как можно более небрежно. — Вот я и подумал, может, вам захочется на нее взглянуть». Вдруг ужасная мысль

заставила его остановиться: «Да ведь одна она не может сюда прийти. Разве позволительно девушке вечером идти к одинокому мужчине? Соседи сплетничать начнут, да и вообще не захочет она». Он был горько разочарован. «Конечно, с ней должна будет пойти мамаша. Но… может, мамаша и не будет нам особенно мешать. Останется где-то там, и все».

И вот, когда все наконец было готово, на него напала нерешительность. Дни шли, а он все не торопился с приглашением. Прокручивал в уме свою пьесу вновь и вновь и теперь уже точно знал, где она остановится, как будет выглядеть, что скажет. Он сочинил множество фраз, которые она, наверное, скажет. Прошла неделя, а он все еще не шел к Мэнро.

Но вот наступил день, когда он наконец решился. «Такие дела нельзя откладывать вечно. Пойду сегодня вечером». После обеда он надел парадный костюм и направился к дому Мэнро. Пешком, конечно, — до их фермы всего четверть мили. Сегодня он ее не пригласит, это ясно. К ее приходу нужно все подготовить: чтобы в камине горел огонь и лампы сияли. Ночь была холодная и очень темная. Пэт, спотыкаясь, брел проселочной дорогой, размышляя, во что превратятся его

блестящие ботинки.

В доме Мэнро светились все окна. Возле ворот стояло довольно много автомобилей. «У них вечеринка, — подумал Пэт. — Приглашу ее как-нибудь в другой раз. Нельзя же ее приглашать перед всей этой публикой». Мелькнула даже мысль, не повернуть ли назад, пока не поздно. «Впрочем, это будет выглядеть довольно странно, если я вдруг приглашу ее в гости после того, как несколько месяцев вообще не видел. Она обязательно что-нибудь заподозрит».

Когда он вошел в дом, его встретил Берт Мэнро и стал радостно трясти его руку.

— Да это же Пэт Хамберт! — завопил он. — Пэт, старина, где ты от нас скрывался?

— Занимался по вечерам.

— Вот здорово, что ты пришел, а то я уж сам к тебе собирался. Ты, конечно, слышал новость?

— Какую новость?

— Да ведь в будущую субботу наша Мэй выходит замуж за Билла Уайтсайда. Я хотел попросить тебя помочь нам на свадьбе. Мы все устраиваем дома, а потом будет угощение. Ты ведь всегда помогал, когда устраивали вечеринки в школе, пока не засел за учебу.

Он взял Пэта под руку и потащил его в дом.

Из комнаты по ту сторону холла раздавался хор голосов.

Пэт держался твердо. Тут пригодилась его небрежная манера, которую он выработал, разыгрывая свою пьесу.

— Замечательно, мистер Мэнро. В следующую субботу, вы говорите? С удовольствием вам помогу. Нет, нет, остаться никак не могу. Мне нужно зайти в лавку. — Они вновь обменялись рукопожатием, и Пэт медленно направился к двери.

Он был так несчастен, что ему хотелось хоть на время спрятаться, зарыться в какую-нибудь темную нору, где никто его не увидит. Он машинально брел к дому. Дом, большой, нескладный, был темен и невыносимо мрачен. Пэт вошел в сарай, медленно поднялся по стремянке и растянулся на сеновале. Все его мысли будто ссохлись и съежились. Больше всего ему не хотелось заходить в дом. Он боялся, что снова запрет дверь в гостиную. И тогда на долгие годы в этой дивной комнате поселятся два перепуганных привидения, а Пэт, сидя на кухне, будет воображать, как они тоскливо смотрят на призрак огня.

XI

Ричард Уайтсайд приехал на дальний Запад в пятидесятых годах. Он побывал на золотых приисках и, познакомившись с ними, решил, что это занятие не для него. «Золото может уродиться только раз, — говорил он, — и этим урожаем долго сыт не будешь, потому что его делят между собой тысячи арендаторов. Это плохое хозяйство».

Ричард долго колесил по горам и долинам Калифорнии; у него была вполне определенная цель — он хотел основать дом для детей, которых у него пока еще не было, и для тех детей, что родятся у его детей. В ту пору в Калифорнии мало кто ощущал ответственность перед своими потомками.

В один прекрасный тихий вечер он въехал на паре гнедых на гребень одного из невысоких холмов, окружавших Райские Пастбища. Ричард остановил лошадей и окинул внимательным взглядом зеленую долину. И понял: место найдено. Странствуя по этим краям, он перевидал немало красивых мест, но ни одно из них не вызывало такого ощущения полноты. Он вспом-

нил, как колонисты Древних Афин и Спарты отправлялись на поиски новых земель, выслушав туманные предсказания оракула; как брели вслед за орлом, указывающим им путь, ацтеки. «Вот теперь бы мне какой-нибудь знак, а большего и хотеть не надо, — подумал Ричард. — Я-то знаю, что это оно самое, но если бы было еще какое-нибудь предзнаменование, чтобы потом рассказать детям...» Он посмотрел на небо, там не было ни птиц, ни облаков. И вдруг поднялся ветерок. Такой ветерок дует по вечерам над холмами. Дубы принялись украдкой указывать на долину, на склоне холма закрутился крохотный вихрь и, подхватив горстку листьев, швырнул ее вверх. Ричард довольно усмехнулся. «Вот и знамение! Сколько прекрасных городов было основано после намека богов, куда более туманного, чем этот».

Он немного посидел, потом вылез из повозки, распряг и стреножил лошадей, и они засеменили мелкими шажками к обочине. Ричард поужинал холодной свининой и хлебом, потом развернул одеяла и расстелил их на траве тут же, на склоне. В долине сгущались серые сумерки, а Ричард лежал и глядел на Райские Пастбища, которые станут теперь его домом. Выбранное им место

находилось на противоположном краю долины, возле красивой дубовой рощи; сзади него возвышался холм и виднелся поросший кустами неширокий извилистый овражек. Там, конечно, тек ручей.

Свет стал неверным, призрачным. Ричард увидел прекрасный белый дом, стоящий в глубине ухоженного сада, белую водонапорную башню. В окнах мелькали желтые огоньки, маленькие, гостеприимные огоньки. Потом открылась широкая парадная дверь, и на террасу высыпал целый выводок ребятишек, их было человек шесть, не меньше. Они вглядывались в сгущавшиеся сумерки и особенно в тот холм, где лежал на своих одеялах Ричард. Вскоре дети вернулись в дом, и дверь захлопнулась. И в ту же секунду все исчезло — и дом, и сад, и белая водонапорная башня. Ричард блаженно вздохнул и перевернулся на спину. В небе торчали иголочки звезд.

Целую неделю Ричард, словно одержимый, носился по долине. Он купил в Райских Пастбищах двести пятьдесят акров; потом съездил в Монтерей и оформил сделку; и только убедившись, что земля принадлежит ему, отправился к архитектору.

На то, чтобы выстроить дом, обставить его, по-

стелить ковры, пробурить колодец и построить водонапорную башню, ушло полгода. Работы в доме Уайтсайда не прекращались весь первый год. За это время в землю не было брошено ни одного зерна.

Один из его соседей, раздраженный этими непонятными действиями, как-то заехал к Ричарду и без обиняков спросил его:

— Скоро вы перевезете свою семью, мистер?

— У меня нет семьи, — ответил Ричард. — Родители умерли. А жены у меня нет.

— Так на кой же дьявол вы строите такой здоровенный дом?

Лицо Ричарда стало суровым.

— Я хочу здесь жить. Я пришел, чтобы здесь остаться. В этом доме будут жить мои дети, и их дети, и дети их детей. Здесь родится много Уайтсайдов, и много Уайтсайдов умрет здесь. Если за этим домом следить как надо, он продержится пятьсот лет.

— Понять-то я вас понял хорошо, — сказал сосед. — Оно вроде бы здорово получается, но мы, здешние, делаем по-другому. Строим маленькую хижинку и, если земля родит хорошо, делаем к ней пристроечку. Негоже слишком уж привязывать себя к одному месту. А что, если вам

захочется переехать?

— Я переезжать не хочу, — крикнул Ричард. — Поэтому-то я и строю. Я хочу построить его так, чтобы ни я, ни мои потомки уже не могли никуда отсюда переехать, а чтоб было уж наверняка, когда я умру, меня здесь похоронят. Человеку нелегко покинуть могилы предков.

Его лицо смягчилось.

— Да ты, приятель, понимаешь ли, что я делаю? Я основываю династию. Я строю семью и дом для этой семьи, и они будут жить, если не вечно, то уж, во всяком случае, несколько столетий. И мне радостно строить этот дом и знать, что по этому полу будут ходить мои потомки, и что дети, чьи прадеды еще не зачаты, родятся когда-нибудь в этом доме. Я заложу здесь начало семейной традиции.

Глаза Ричарда сияли. Стук молотков, которыми работали плотники, вторил его словам.

Сосед подумал, что он сумасшедший, но сумасшествие это внушало уважение. Ему захотелось как-то выразить его. Если бы он не был американцем, он бы, наверно, приложил два пальца к шляпе. У этого человека было двое взрослых сыновей, которые рубили лес в трехстах милях от этих мест, а его дочь вышла замуж и уехала

в Неваду. Семья его распалась, фактически не начав существовать.

Ричард строил свой дом из секвойи, которая никогда не гниет. Он построил его по образцу изящных загородных домов Новой Англии, но, отдавая дань теплому климату Райских Пастбищ, окружил все здание широкой верандой. Крышу покрыли дранкой, но лишь на время: как только заказ Ричарда был получен в Бостоне и пароход вернулся в Калифорнию, дранку содрали и покрыли дом шифером, как на Востоке.

Эта крыша имела для Ричарда огромное, символическое значение. Что касается местных жителей, шиферная крыша стала в их глазах главной достопримечательностью Райских Пастбищ. Она больше, чем что-либо другое, сделала Ричарда первым гражданином долины. Этот человек был тверд в своих намерениях, и вот он выстроил себе дом. Он не собирался бежать куда-то на золотые прииски. Э… да о чем тут говорить, когда он покрыл дом шифером.

К тому же он был образованным человеком, он учился в Гарварде. У него были деньги и убежденность, и он построил в долине огромный, роскошный дом. Он станет здесь настоящим хозяином. Он был основателем, патриархом семьи,

и он покрыл свой дом шифером. Из-за шиферной крыши здешние жители стали больше ценить Райские Пастбища и гордиться ими. Если бы Ричарду захотелось стать местным заправилой, он не смог бы придумать более ловкого хода, чем покрыть свой дом шифером. Под дождем крыша становилась темной и блестела, а на солнце сверкала, как стальное зеркало.

Наконец, дом был готов, и двое работников принялись разбивать сад и готовить землю к посеву. На склоне холма, за домом щипала траву небольшая отара овец. Ричард знал, что он сделал все, абсолютно все. Теперь ему нужно было жениться. Получив письмо от дальнего родственника, который сообщал, что приехал в Сан-Франциско с женой и дочкой и хочет с ним повидаться, Ричард понял, что искать уже не нужно. Еще до отъезда в Сан-Франциско он знал, что женится на этой дочке. Это было верное дело. Женившись на ней, можно было не опасаться, что дети унаследуют дурную кровь.

Они прошли через церемонию ухаживания, хотя все было ясно уже с первой встречи. Алисия рада была избавиться от господства матери и основать свою собственную империю. Дом Ричарда был построен словно для нее. Она не пробыла

в нем и суток, а уже покрыла полки в кладовой резными бумажными салфеточками. Ричард вспомнил, что видел точно такие же в кладовой у своей матери. Алисия вела дом уютно, по старинке, по раз и навсегда заведенному распорядку: в понедельник — стирка, во вторник — глаженье и все остальное; ковры выбивали дважды в год; варенье, соленье, томаты сохранялись на полках погреба от осени до осени. Ферма процветала, плодились овцы и коровы, а в саду высаживались многолетние цветы — лютики, турецкая и красная гвоздика, мальвы. А кроме того, Алисия ждала ребенка.

Ричард знал, что все именно так и получится. Династия основана. Верхушки каминных труб уже закоптились. Камин в гостиной дымил не больше, чем нужно для того, чтобы наполнить дом восхитительным смолистым запахом. Большая пенковая трубка, которая была белой, как мел, когда тесть подарил ее Ричарду, приобретала сочный желтовато-кремовый оттенок.

Во время беременности Алисии Ричард обращался с ней почти как с больной. Он заботливо укутывал ей ноги, когда она сидела вечерами у камина; больше всего на свете он боялся, как бы чего-нибудь не случилось с ребенком. У них

зашел разговор о картине, на которую ей нужно смотреть, чтобы их первенец родился красивым, и Ричард сделал ей сюрприз: заказал в Сан-Франциско маленькую бронзовую копию микеланджеловского Давида. Его нагота заставила Алисию зардеться, но вскоре она страстно привязалась к статуэтке. Ложась спать, она ставила ее на ночной столик. Днем, возясь по хозяйству, переносила ее за собой из комнаты в комнату, по вечерам статуэтка стояла в гостиной на камине. Часто, когда Алисия вглядывалась в стройную, мускулистую фигурку, на ее лице то вспыхивала, то угасала слабая улыбка, знающая и пытливая. Она не сомневалась, что ее ребенок будет похож на Давида.

Ричард сидел с ней рядом и успокоительно поглаживал ее руку. Она любила, когда он гладил ей ладонь, его прикосновение было твердым и не щекотало. Он негромко с ней разговаривал.

— Проклятие рассыпалось, — сказал он однажды. — Знаешь, Алисия, мои предки и твоя дальняя родня прожили сто тридцать лет в одном доме. И кровь родившихся там, у того очага, смешалась с доброй, чистой кровью жителей Новой Англии. Отец как-то рассказал мне, что в нашем доме родилось семьдесят три ребенка.

Наша семья все росла и росла, и вдруг все оборвалось. У моего деда был только один ребенок — мой отец. Я тоже был единственным. Отцу это омрачило всю жизнь. Он умер всего шестидесяти лет, Алисия, и, кроме меня, у него не было детей. А когда мне исполнилось двадцать пять, и я, по сути дела, еще и жить-то не начал, наш старый дом сгорел. Не знаю, отчего он загорелся.

Он переложил ее руку на ручку своего кресла так нежно, словно это был маленький, слабый зверек. Тлеющий уголь выпал из камина и покатился по кирпичам. Ричард забросил его назад и снова взял Алисию за руку. Она слабо улыбалась стоящему на камине Давиду.

Голос Ричарда звучал теперь тихо и как бы издалека, словно из тех самых древних времен, о которых он рассказывал. Позже Алисия научилась по повороту его головы, по звуку голоса, по выражению лица угадывать, что он заговорит сейчас о древних временах. Времена Геродота, Ксенофонта, Фукидида составляли как бы частицу его жизни. На безграмотном Западе истории, рассказанные Геродотом, звучали так, словно Ричард сам их выдумал. Каждый год он перечитывал «Персидскую войну», «Пелопоннесские войны», «Десять тысяч». Он чуть крепче сжал

руку Алисии.

— В древние времена, когда на какой-нибудь город обрушивался целый поток бедствий и жители начинали думать, что он проклят или хуже того, что один из богов на него разгневался, они погружали все свое движимое имущество на корабли и уплывали, чтобы где-нибудь в другом месте основать новый город. А старый оставался пустым и был открыт для всякого, кто пожелает прийти туда.

— Дай мне, пожалуйста, статуэтку, — попросила Алисия. — Мне иногда хочется подержать ее в руках.

Он вскочил и положил Давида ей на колени.

— Слушай, Алисия. Когда тот дом сгорел, в двух поколениях оставалось лишь двое детей. Я погрузил свое имущество на пароход и отплыл на Запад, чтобы заложить новый дом. Ты ведь знаешь, дом, которого я лишился, строился сто тридцать лет. Я не мог вернуть его к жизни. А жить в новом доме на старой земле мне было бы больно. Когда я увидел эту долину, я понял, что нашел место для нового гнезда. И вот уже появляется новое поколение. Я очень счастлив, Алисия.

Она потянулась, чтобы пожать ему руку, благодарная за то, что сумела сделать его счастливым.

— Ба, — вдруг заговорил он, — мне ведь даже было предзнаменование, когда я пришел в долину. Я вопросил богов, не ошибаюсь ли я, и они мне ответили. Правда, хорошо, Алисия? Хочешь, я расскажу тебе о предзнаменованиях и о том, как я первый раз переночевал здесь, на холме?

— Расскажешь завтра вечером, — сказала она. — Сейчас мне лучше пойти отдохнуть.

Он встал и помог ей снять плед с колен. Потом он повел ее наверх, и Алисия крепко опиралась на его руку.

— Что-то мистическое есть в нашем доме, Алисия, что-то непостижимое. Новая душа, первый абориген нового племени.

— Он будет похож на статуэтку, — сказала Алисия.

Ричард подоткнул ей одеяло, чтобы она не простудилась, и вернулся в гостиную. Дом был полон детей, он слышал их. Их ножки топали вверх и вниз по лестнице, они разгребали золу в камине. Он слышал, как они негромко перекликаются на террасе. Перед тем как пойти спать, он положил на верхнюю полку три толстые книги.

Роды были страшно тяжелые. Когда все кончилось и Алисия, бледная и измученная, лежала в кровати, Ричард принес маленького и положил

его с ней рядом.

— Да, — сказала она удовлетворенно, — он похож на статуэтку. Я это знала, конечно. И мы, конечно, назовем его Давидом.

В гостиную спустился монтерейский доктор и сел рядом с Ричардом у камина. Он угрюмо насупил лоб и все вертел и вертел на среднем пальце масонское кольцо. Ричард откупорил бутылку бренди и налил две стопки.

— Я хочу выпить за своего сына, доктор.

Доктор поднес стопку к носу и фыркнул по-лошадиному:

— Ох, и хорош, мерзавец. Выпейте лучше за жену.

— Да, конечно.

Они выпили.

— Ну, а эту за сына.

— Выпейте и эту за жену.

— Почему? — удивленно спросил Ричард.

Доктор почти касался носом бренди в своей стопке.

— Нечто вроде благодарственной жертвы. Вы сейчас чуть было не овдовели.

Ричард залпом проглотил свою стопку.

— Я этого не знал. Я думал… я не знал этого. Я думал, что первые роды всегда трудные.

— Налейте-ка мне еще, — распорядился доктор. — Других детей у вас уже не будет.

Ричард, наполнявший в это время стопку, замер.

— Что вы хотите этим сказать? Конечно, у меня будут другие.

— Но не от этой жены, это уж точно. С ней все. Заведите еще одного ребенка, и вы останетесь без жены.

Ричард словно окаменел. Негромкий топот детских ног, который в последние месяцы чудился ему в доме, внезапно замер. Казалось, он услышал, как дети украдкой пробираются через парадную дверь и спускаются по ступенькам.

Доктор угрюмо рассмеялся.

— Может, вам напиться, если вы принимаете это так близко к сердцу?

— Нет, нет, что вы! Я, пожалуй, и не смогу.

— Ну… в общем, ладно, налейте-ка мне еще одну напоследок. Боюсь, продрогну я по дороге домой.

Только через полгода Ричард решился сказать жене, что она не сможет больше иметь детей. Он хотел, чтобы она набралась сил, прежде чем он обрушит на нее этот удар. Когда же он, наконец, пришел к ней, он почувствовал себя виноватым за то, что собирался сказать. Алисия держала

ребенка на коленях и время от времени наклонялась схватить губами его растопыренные пальчики. Ребенок таращил на нее мутные глазенки и, улыбаясь влажными губками, шевелил своими прямыми пальчиками, приглашая ее снова их схватить. В окно сплошным потоком вливался солнечный свет. Слышно было, как где-то далеко один из их работников тягуче и монотонно ругает впряженных в борону лошадей. Алисия подняла голову и слегка нахмурилась.

— Его уже пора крестить, правда, Ричард?

— Да, — согласился он. — Я съезжу в Монтерей, договорюсь.

Видно было, что ее мучает какая-то мысль.

— Как ты думаешь, не поздно еще дать ему другое имя?

— Нет, конечно. А зачем это тебе? Как ты хочешь его назвать?

— Я хочу, чтобы его назвали Джон. Это имя из Нового Завета. — Она посмотрела на него, ища одобрения. — И потом, так зовут моего отца. Отцу будет приятно. И еще мне почему-то кажется, что не годится называть его в честь статуи, даже статуи этого мальчика Давида. Если бы она хоть была одета…

Ричард и не пытался вникать в ее доводы. Он

вдруг взял и одним махом выложил ей то, с чем пришел. Через минуту все было позади. Он не представлял себе, что это займет так мало времени. Алисия улыбалась той особой, загадочной улыбкой, которая всегда приводила его в замешательство. Казалось, он знал жену так, что лучше некуда, но эта улыбка, немного насмешливая, чуточку печальная и полная таинственной мудрости, закрывала ему доступ к ее мыслям. Она укрывалась за этой улыбкой. Улыбка говорила: «Как ты глуп. Я знаю нечто такое, что, стоит мне лишь рассказать тебе об этом, все твои знания покажутся просто смешными».

Ребенок потянулся пальчиками к ее лицу, призывая возобновить игру, и она принялась сгибать и разгибать их.

— Погоди, — сказала она. — Доктора ведь всего не знают. Ты немного погоди, вот и все. Будут у нас и другие дети.

Она переложила мальчика и просунула под пеленку руку.

Ричард вышел и сел на ступеньках крыльца. В доме снова кипела жизнь, а ведь пять минут назад он был тихим, мертвым. Оказывается, накопилась уйма дел. Полгода уже не подстригали живую изгородь из кустов букса, которая не да-

вала саду разрастаться дальше, чем нужно. На заднем дворе давно уже был выделен участок для лужайки и его все еще не засеяли травой. Не отвели место для сушки белья. Ричард сидел возле самых перил. Он протянул руку и погладил их, словно это была выгнутая шея лошади.

Не успели Уайтсайды поселиться в Райских Пастбищах, как сразу же стали самыми уважаемыми в деревне. Они были люди образованные, владели прекрасной фермой, и если их и нельзя было назвать богатыми, нужды в деньгах они не испытывали. А главное, они жили в красивом уютном доме. Этот дом был символом семьи — просторный, роскошный по тем временам, теплый, гостеприимный, белый. Он был очень большой и потому казался богатым, но главное, что возвышало его над другими домами в долине, — это белый цвет, а хозяева то и дело заново белили его, — белый цвет, который придавал ему вид замка среди деревенских домишек. Все местные жители восхищались белым особняком, а кроме того, он вызывал у них какое-то ощущение уверенности. В нем воплощались власть, образованность, здравое суждение, хорошие манеры. Глядя на этот дом, можно было сказать, что Ричард Уайтсайд — джентльмен, не способный

на низкий, жестокий или неразумный поступок. Соседи гордились этим домом точно так, как арендаторы герцога гордятся герцогским замком. И хотя некоторые из местных жителей были богаче Уайтсайда, они, казалось, не сомневались, что не сумеют построить такой дом, даже если в точности его скопируют. Из-за дома-то главным образом Ричард и стал для здешних жителей сперва образцом хороших манер, а позже чем-то вроде неофициального судьи в их мелких разногласиях. Это доверие, которое питали к нему соседи, внушило и самому Ричарду нечто вроде отцовского чувства по отношению к ним. С годами он стал относиться ко всем местным событиям как к своим личным делам, и люди гордились этим.

Прошло пять лет, и внутреннее чувство подсказало Алисии, что она снова сможет иметь ребенка.

— Я позову врача, — сказал Ричард, когда она сообщила ему об этом. — Он скажет, опасно это или нет.

— Не надо, Ричард. Врачи ничего не понимают. Женщины знают себя лучше, чем врачи.

Ричард повиновался — он боялся того, что мог сказать ему доктор.

— В женщинах есть искра божия, — убеждал он себя. — Природа наделила женщину даром провидения, дабы род человеческий не угас.

Шесть месяцев все шло прекрасно, и вдруг наступили преждевременные роды. Доктор — за ним все же пришлось наконец послать, — был в такой ярости, что даже не стал разговаривать с Ричардом. Потянулись ужасные часы. Ричард сидел в гостиной, вцепившись в ручки кресла, и прислушивался к слабым вскрикиваниям, доносившимся сверху, из спальни. Лицо его стало серым. Это длилось много часов, потом вскрики умолкли. Ричард так отупел от мрачных предчувствий, что даже не поднял глаз, когда в комнату вошел доктор.

— Вытаскивайте свою бутылку, — устало проговорил врач. — И выпьем за вас, за идиота безмозглого.

Ричард молча глядел в пол. С минуту доктор сверлил его грозным взглядом, потом заговорил снова, но уже мягче:

— Ваша жена не умерла, один бог знает почему. Ей так досталось, что не выжил бы взвод солдат. Эти мне слабые женщины. Чудовищно живучи! Ребенок мертв!

Ему вдруг захотелось наказать Ричарда за то,

что он не послушался его совета:

— Хоронить нечего, от него немного осталось.

Он резко повернулся и тут же вышел из дома, потому что очень не любил жалеть людей так, как он жалел сейчас Ричарда Уайтсайда.

Алисия осталась калекой. Маленький Джон не помнил того времени, когда его мать была здорова. Всегда, всегда, с тех пор как он себя помнил, отец на руках сносил ее вниз по лестнице и поднимал наверх. Разговаривала Алисия редко, но все чаще и чаще в глазах ее появлялась ироническая и мудрая усмешка. И, несмотря на свою беспомощность, она изумительно вела дом. Неотесанные деревенские девчонки, которые прислуживали в доме в ожидании того вожделенного часа, когда они сами станут замужними женщинами, являлись к ней за приказами перед каждой едой. И Алисия, лежа в кровати или сидя в качалке, правила всем.

Каждый вечер Ричард относил ее наверх, в спальню. Она лежала там, на своих белоснежных подушках, а он пододвигал к ней кресло, садился и, поглаживая ее ладонь, ждал, когда она уснет. Каждый вечер она спрашивала его:

— Ты доволен, Ричард?

— Доволен, — отвечал он.

И рассказывал ей о ферме и о соседях. Это было что-то вроде ежедневного отчета. Когда он начинал рассказывать, на лице ее появлялась улыбка, которая исчезала лишь, когда глаза ее закрывались, и Ричард гасил свет. Таков был ритуал.

Когда Джону исполнилось десять лет, ему устроили праздник. В доме собрались ребятишки со всей долины, они на цыпочках бродили по комнатам, тараща глаза на это великолепие, о котором они столько слышали. Алисия сидела на веранде.

— Почему вы себя так тихо ведете, дети? — спрашивала она. — Побегайте, поиграйте.

Но они не могли кричать и бегать в доме Уайтсайда. Это было бы все равно, что закричать в церкви. Когда гости обошли все комнаты, им стало уж совсем невмоготу. Они устремились в амбар, и их дикие вопли долетали оттуда до террасы, где сидела улыбающаяся Алисия.

Этим вечером, лежа в постели, Алисия спросила:

— Ты доволен, Ричард?

Его лицо все еще сияло от удовольствия, которое доставил ему приход гостей.

— Доволен, — ответил он.

— Не надо расстраиваться из-за детей, Ри-

чард, — снова заговорила она. — Погоди немного. Все будет хорошо.

Он снова подумал, что она знает много, очень много; знает все.

— Погоди немного. Нет такого горя, которое не смягчилось бы, если немного подождать.

Ричард чувствовал, что она знает что-то более важное, чем он.

— Ждать уже недолго, — продолжала Алисия.

— Чего ждать?

— Как чего? Джона. Ему уже десять лет. Еще через десять он женится, и тогда… понимаешь? Научи его тому, что ты сам знаешь. Наша семья не погибнет, Ричард.

— Да, да, конечно. И дом не погибнет. Я начну читать ему Геродота. Он уже большой.

— Мне кажется, Миртл должна завтра прибраться в запасных спальнях. Их уже три месяца не проветривали.

На всю жизнь запомнил Джон Уайтсайд, как отец читал ему трех великих авторов: Геродота, Фукидида, Ксенофонта. Пенковая трубка была теперь ровного красновато-коричневого цвета.

— Здесь вся история, — говорил Ричард. — В этих трех книгах рассказано обо всем, на что способен человек. Здесь любовь и лицемерие, тупая

бесчестность, ограниченность и отвага, благородство и печаль человечества. По этим книгам ты можешь судить о будущем, Джон, потому что на земле уже не случится ничего такого, о чем не рассказывали бы эти книги. Библия по сравнению с ними — лишь собрание разрозненных историй, созданных невежественным народом.

А еще Джону запомнилось, как отец относился к дому: он считал его символом семьи, храмом, воздвигнутым вокруг очага.

Джон был на последнем курсе Гарвардского университета, когда отец внезапно умер от пневмонии. Алисия написала сыну, чтобы он не приезжал, пока не кончится ученье.

«Ты не смог бы сделать больше того, что сделано, — писала она. — Ты должен окончить ученье, такова была воля отца».

Когда же он наконец вернулся домой, он увидел, что мать очень постарела. Теперь она уже совсем не вставала с постели. Джон сел у ее кровати, и мать рассказала ему о последних днях отца.

— Он просил меня сказать тебе одну вещь, — говорила Алисия: — «Пусть Джон поймет, что мы не должны исчезнуть. Я хочу жить в своих потомках». И вскоре после этого у него начался бред. — Джон смотрел в окно, на круглый холм

за домом. — Два дня твой отец не приходил в сознание. И он все время говорил о детях, только о детях. Он слышал, как они бегают вверх и вниз по лестнице, чувствовал, как они дергают одеяла на его кровати. Ему хотелось взять их на руки, Джон. А после, уже перед самым концом, видения рассеялись. Он был счастлив. Он сказал: «Я видел будущее. Все эти дети здесь будут. Я доволен, Алисия».

Джон сидел, опершись подбородком на руки. И тут мать, которая ни разу в жизни не восставала против чего бы то ни было, а всегда лишь просила подождать и предоставить все времени, вскинулась и заговорила с ним резко, почти грубо:

— Женись! — крикнула она. — Я хочу это видеть. Женись и возьми крепкую женщину, пусть рожает тебе детей. Я уже не могла родить после тебя. Я умерла бы, если б родила хоть одного. Поскорее разыщи себе жену. Я хочу ее видеть.

Она откинулась на подушки, но в глазах ее застыла тоска, и на лице не было той всегдашней улыбки.

Джон не женился целых полгода. Мать за это время так высохла, что превратилась в крохотный скелетик, обтянутый голубоватой, почти прозрачной кожей, и все же она продолжала цеп-

ляться за жизнь. Ее глаза с безмолвным укором следили за сыном. Ему было стыдно, когда он чувствовал на себе этот взгляд. Потом один из бывших сокурсников Джона приехал на Запад, чтобы присмотреть себе какое-нибудь дело, и привез с собой сестру. Они прогостили у Уайтсайдов месяц; к концу этого срока Джон сделал Уилле предложение, и она приняла его. Когда он рассказал об этом матери, та захотела поговорить с девушкой с глазу на глаз. Спустя полчаса Уилла вышла из комнаты больной с пылающими щеками.

— Что случилось, дорогая? — спросил Джон.

— Так, пустяки. Ничего не случилось. Твоя мама задала мне множество вопросов, а потом долго смотрела на меня.

— Она очень стара, — пояснил Джон. — И рассудок у нее тоже старый-старый.

Он пошел в комнату матери. С ее лица уже ушло обеспокоенное, страдальческое выражение, и снова появилась прежняя лукавая, знающая улыбка.

— Все хорошо, Джон, — оказала она. — Мне хотелось бы поглядеть на детей, но я не смогу. Я и так уже слишком долго цеплялась за жизнь. Я устала.

Джон почти видел, как слабеет в ней цепкая воля. Ночью она начала бредить, а через три дня умерла, тихо и спокойно, словно во сне.

Джон Уайтсайд относился к дому несколько иначе, чем отец. Любил он его больше. Дом стал как бы его скорлупой. Точно так же, как мысли его могли покинуть тело и отправиться куда-то вдаль, так и сам он мог покинуть дом, но обязательно должен был в него вернуться. Каждые два года он заново белил его, работал в саду, подстригал буксовую изгородь. Он не унаследовал отцовской власти над долиной. Джон был мягче, ему не хватало отцовской убежденности. Когда ему приходилось решать какой-нибудь спор, он слишком уж дотошно вникал во все мелкие обстоятельства, о которых рассказывали обе стороны. Большая пенковая трубка теперь совсем уже потемнела, она стала черной с красноватым оттенком.

Уилла Уайтсайд сразу полюбила Райские Пастбища. Алисия держалась отчужденно и замкнуто, ее побаивались. Соседи редко видели ее, а когда это случалось, она обращалась с ними приветливо и ласково, была великодушна и тактична. Но в ее присутствии фермеры чувствовали себя крестьянами, пришедшими в замок.

Уилле нравилось ходить в гости к местным фермершам. Она любила пить крепкий чай у них на кухне и обсуждать эту неисчерпаемую и важную тему — домашнее хозяйство. Кулинарные советы Уилла собирала оптом. Отправляясь в гости, она всегда брала с собой блокнотик и записывала заветные рецепты. Соседки звали ее по имени и часто забегали к ней по утрам выпить чайку на кухне.

Возможно, что и Джон стал общительным отчасти под ее влиянием. Он не обладал тем непререкаемым авторитетом, которым пользовался всегда замкнутый Ричард. Джону нравились соседи. В жаркие летние дни он сидел на веранде в шезлонге и беседовал с теми, кто был в этот день свободен. Здесь обсуждалась местная политика, устраивались небольшие заседания за стаканом лимонада. На этой веранде формировалась общественная и политическая структура Райских Пастбищ, и создавалась она всегда весело.

Джон смотрел на все окружающее его с какой-то добродушной иронией, и благодаря этому жизнь обитателей долины, в отличие от большинства сельских районов, не была отравлена бушеванием политических страстей и яростной религиозной нетерпимостью. Если во время

прений, которые вели между собой мужчины, разговор касался какого-нибудь события или бедствия, бывшего в то время притчей во языцех у всей страны или у всей долины, Джону нравилось вынести на террасу три толстые книги и прочесть вслух о том, как в древнем мире возникали подобные обстоятельства. Он любил древних так же горячо, как его отец.

К воскресному обеду приходили гости — какая-нибудь супружеская чета из живущих поблизости, случалось, забредал странствующий проповедник. Женщины помогали Уилле на кухне. Обедали в полдень. За обедом проповедник замечал, как жгучее пламя его миссии тихо угасает в атмосфере кроткой терпимости, а когда приносили десерт и сидр, ревностный баптист от души хохотал над добродушными насмешками, которые отпускались здесь по поводу таинства крещения.

Все это доставляло Джону самое неподдельное удовольствие, но настоящая его жизнь протекала в гостиной. Кожаные кресла — каждая их выпуклость и впадина были воплощением уюта — казались ему частицей его самого. На стенах висели картины, он вырос вместе с ними. Это были гравюры: олень, путешественники в Швей-

царских Альпах, горные козлы. Эти картины так вплелись в его жизнь, что он уже не замечал их, но если бы они исчезли, он почувствовал бы физическую боль, как при ампутации. Больше всего он любил вечера. В красном кирпичном камине горел нежаркий огонь, Джон сидел в кресле и поглаживал большую пенковую трубку. Время от времени он смазывал свою трубку — проводил ее полированной чашечкой вдоль носа. Он читал «Георгики» или «О сельском хозяйстве» Варрона, а Уилла сидела у своей лампы и, плотно сжав губы, вышивала цветы на салфеточках, которые она посылала на Рождество своим родственникам на Восток, получая от них взамен точно такие же.

Джон закрыл книгу и направился к конторке. Это была старинная конторка с крышкой на роликах, крышка вечно заедала, с ней пришлось повозиться. Внезапно она поддалась и с грохотом сдвинулась с места. Уилла разжала губы. С ее лица исчезло напряженное, страдальческое выражение, появлявшееся у нее, когда она над чем-нибудь старалась.

— Бог мой, что ты там делаешь?

— Да так, хочу кое о чем подумать.

Он проработал час и сказал:

— Вот послушай, Уилла.

Напряженное выражение вновь исчезло с ее лица.

— Я так и думала… стихи.

Он прочел их и ждал с виноватым видом. Уилла тактично промолчала. Молчание затянулось и перестало быть тактичным.

— Мне кажется, они не очень хороши.

Он невесело рассмеялся.

— Твоя правда.

Джон смял бумагу и швырнул ее в огонь.

— На какую-то минутку мне показалось, что получится хорошо.

— А что ты перед этим читал, Джон?

— Да просто просматривал Вергилия и решил испробовать свои силы, потому что мне не хотелось… Знаешь, ведь почти невозможно читать что-нибудь хорошее и не захотеть что-нибудь хорошее сделать. Ладно, пустяки!

Он задвинул крышку и вынул из шкафа новую книгу.

Гостиная была его домом. Он чувствовал себя здесь подлинным, совершенным, счастливым.

Жизнь человека обычно движется по кривой. Честолюбивый подъем, округлая вершина зрелости, пологий спуск утраченных иллюзий и, наконец, плоская равнина ожидания смерти.

Жизнь Джона Уайтсайда шла по прямой линии. Он был нечестолюбив. Ферма не только обеспечивала ему безбедную жизнь, но и приносила доход, достаточный для того, чтобы нанять людей, которые бы за него работали. Он никогда не хотел ничего такого, чего бы не имел или не мог бы с легкостью получить. Он был одним из тех немногих, кто умеет наслаждаться мгновением, пока оно не миновало. И он знал, что эта его жизнь хороша, на редкость хороша.

Лишь одного ему не хватало. У него не было детей. Он жаждал детей почти с такой же силой, как его отец. У Уиллы не было детей, хотя она о них мечтала не менее горячо, чем он. Это смущало их, и они никогда не разговаривали на эту тему.

На восьмом году супружества, по какой-то прихоти то ли природы, то ли провидения, Уилла забеременела и после спокойной, безболезненной беременности родила здорового ребенка.

Этот случай больше ни разу не повторился, но и Уилла, и Джон были благодарны, почти благоговейно благодарны. Страстное желание увековечить себя, до тех пор подспудное, вырвалось наружу. И Джон принялся вспарывать землю плугом, скрести ее бороной, бить катком. Это продолжалось несколько лет. Если до сих пор

Джон был другом своей земли, то сейчас пробудившееся в нем чувство долга перед потомками превратило его в хозяина. Он бросал в землю семена и с нетерпением ожидал зеленых всходов.

В Уилле не произошло таких перемен. Этого мальчика, Уильяма, она восприняла как нечто само собой разумеющееся, звала его Биллом и даже не думала ему поклоняться. А Джону казалось, что он видит в мальчике своего отца, несмотря на то, что никто не разделял его мнения.

— Как ты думаешь, он способный? — спрашивал он жену. — Ты ведь больше, чем я, с ним бываешь. Хорошая у него голова, как по-твоему?

— Да так себе. Самый обыкновенный.

— Мне кажется, он слишком медленно развивается, — нетерпеливо говорил Джон. — Я жду не дождусь, когда он начнет все понимать.

Когда Биллу исполнилось десять лет, Джон открыл толстый том Геродота и начал читать ему. Билл сидел на полу и безучастно глядел на отца. Каждый вечер Джон прочитывал ему по нескольку страниц. Так прошло около недели, но однажды вечером, подняв глаза от книги, Джон увидел, что Уилла смотрит на него и смеется.

— В чем дело? — спросил он резко.

— Погляди, что у тебя под стулом.

Он наклонился и увидел спичечный домик, который построил Билл. Мальчик был так поглощен своим делом, что даже не заметил, как прекратилось чтение.

— Он что, совсем не слушал?

— Ни слова. Он ни единого слова не услышал с тех пор, как в первый же вечер потерял интерес к чтению на втором абзаце.

Джон закрыл книгу и положил ее в шкаф. Ему не хотелось показывать, как ему больно.

— Возможно, он еще мал. Через год я попробую снова.

— Ему это никогда не понравится, Джон. Он не из того теста, что ты и твой отец.

— Чем же он интересуется? — спросил Джон растерянно.

— Да тем же, чем и другие здешние мальчишки. Револьверами, лошадьми, коровами, собаками. Он ускользнул от тебя, Джон, и, по-моему, ты его уже никогда не поймаешь.

— Скажи мне правду, Уилла. Он… глупый?

— Нет, — ответила она, подумав. — Он не глуп. В некоторых отношениях он сильнее и умнее тебя. Просто он совсем другой породы, Джон. Рано или поздно тебе придется в этом убедиться.

Джон утратил интерес к земле. О ней можно

было не беспокоиться. Наступит день, и Билл начнет ее обрабатывать. И о доме можно не беспокоиться. Билл не глуп. Он с детских лет проявляет несомненный интерес ко всей этой механике… Он делал вагончики и требовал, чтобы на Рождество ему дарили игрушечные паровозы. Джон заметил в мальчике еще одну черту, совершенно несвойственную Уайтсайдам. Он был не только очень скрытен, он обладал деловой хваткой. Билл продавал другим ребятам свои вещи, а когда они им надоедали, скупал их по дешевке. Небольшие денежные подарки чудесным образом приумножались в его руках. Но прошло еще немало времени, прежде чем Джон признался себе, что у него нет ничего общего с сыном. Он подарил ему телку, и Билл тут же сменял ее на поросят, выкормил их и продал. Джон смеялся над собой.

— Конечно, он умнее меня, — говорил он Уилле. — Отец мне однажды подарил телку, и я держал ее до тех пор, пока она не умерла от старости. В Билле какой-то атавизм, может быть, от пиратов. А его дети, возможно, будут Уайтсайдами. Это могучая кровь. Мне все же хотелось бы, чтобы он не был так скрытен.

Кожаное кресло, черная пенковая трубка и кни-

ги вновь отвлекли Джона от фермы. Его избрали председателем попечительского совета. И снова фермеры собирались потолковать в его доме. Его волосы начали седеть, и с каждым годом возрастало его влияние в долине.

Дом стал олицетворением Джона Уайтсайда. Когда соседи думали о Джоне, он никогда не представлялся им в поле, в повозке, в лавке. Вне дома его облик казался неполным. Вот он сидит в кожаном кресле и улыбается своим толстым книгам. Вот он полулежит в шезлонге на своей гостеприимной широкой веранде, или с маленькими ножницами и корзинкой срезает цветы в саду, или же во главе стола старательно и искусно разрезает большой кусок жареного мяса.

На Западе, если какая-нибудь семья в течение двух поколений живет в одном доме, дом считают старым, а его обитателей пионерами. Старые дома вызывают здесь какое-то смешанное чувство благоговения и презрения. На Западе очень мало старых домов. Заселившие этот край непоседы-американцы совершенно не способны долго жить на одном месте. Они строят хлипкие домишки и покидают их, едва поманит новая надежда. Старые дома почти всегда стоят холодные и безобразные.

Когда Берт Мэнро переехал со своим семейством в Райские Пастбища и поселился на ферме Бэттла, он очень быстро оценил то положение, которое здесь занимал Джон Уайтсайд. Берт не замедлил присоединиться к тем, кто собирался на веранде Уайтсайда. Участок его примыкал к земле Уайтсайдов. Вскоре Берта избрали в попечительский совет, и он стал встречаться с Джоном и по делу. Однажды вечером на попечительском совете Джон процитировал несколько строк из Фукидида. Берт подождал, пока разойдутся остальные члены совета.

— Я хотел спросить вас об этой книге, о которой вы нынче рассказывали, мистер Уайтсайд.

— Вы имеете в виду «Пелопоннесские войны»?

Джон вынес книгу и протянул ее Берту.

— Мне, пожалуй, было бы интересно почитать ее, если вы не против.

Джон заколебался:

— Разумеется… вы можете ее взять. Эта книга принадлежала моему отцу. Когда вы ее прочтете, у меня здесь найдется еще кое-что, что может вас заинтересовать.

После этого случая между обеими семьями возникло что-то вроде дружбы. Они приглашали друг друга обедать, захаживали в гости. Берт не

стеснялся одалживать у Джона кое-какие инструменты.

Однажды вечером — это было года через полтора после приезда Мэнро — Билл деревянным шагом вошел в гостиную и остановился перед родителями. Он нервничал и потому держался грубо.

— Я собираюсь жениться, — сказал он.

Весь его вид говорил о том, что он принес дурную весть.

— Что-о? — крикнул Джон. — Почему ты нам ничего не говорил? Кто она?

— Мэй Мэнро.

Внезапно Джон понял, что новости хорошие, что это не признание в преступлении.

— Да ведь… да ведь это хорошо. Я рад. Она славная девушка… Правда, Уилла?

Жена избегала его взгляда. Только сегодня утром она была у Мэнро.

Билл словно врос в пол посреди гостиной.

— Когда ты намерен это сделать? — спросила Уилла.

Джон отметил, что ее голос звучит чуть ли не враждебно.

— Да теперь уж скоро. Как только будет готов наш дом в Монтерее.

Джон встал, взял с камина черную пенковую трубку и закурил ее. Потом вернулся на место.

— Ты держал это в большом секрете, — заметил он спокойно. — Почему ты нам не рассказал?

Билл молчал.

— Так ты говоришь, вы будете жить в Монтерее. Ты, значит, не собираешься привести сюда жену? Ты не хочешь жить в этом доме и обрабатывать эту землю?

Билл покачал головой.

— Ты чего-то стыдишься, Билл?

— Нет, сэр, — ответил Билл. — Я ничего не стыжусь. Просто я никогда не любил говорить о своих делах.

— А тебе не кажется, что это в некотором роде и наше дело, Билл? — вспыхнул Джон. — Ты член нашей семьи. Твои дети будут нашими внуками.

— Мэй выросла в городе, — перебил его Билл. — В Монтерее живут все ее подруги… Ну эти… с которыми она училась в школе. Ей не нравится у нас, здесь и жизни-то никакой нет.

— Понимаю.

— Ну и когда она сказала, что хочет жить в городе, я купил себе долю в фордовском агентстве. Я ведь давно уже хочу заняться бизнесом.

Джон медленно наклонил голову. Первая

вспышка гнева понемногу остывала.

— И ты думаешь, она не согласится жить в этом доме, Билл? Здесь так просторно. Если она захочет, мы могли бы переделать вам любую часть дома.

— Да ведь ей не нравится жить в деревне. В Монтерее все ее подруги.

Уилла слушала, плотно сжав губы.

— Посмотри на отца, Билл! — приказала она.

Джон резко поднял голову и печально усмехнулся.

— Ничего, я думаю, все будет в порядке. У вас много денег?

— Ну еще бы! Конечно, много. И знаешь что, отец? Дом у нас будет великоват, то есть для двоих он велик. Мы посоветовались и решили, что, может быть, вы с мамой захотите к нам переехать.

Джон все еще улыбался с учтивой серьезностью.

— А что же станет с этим домом и с фермой?

— О, мы и об этом думали. Вы могли бы продать все это и получить столько, что вам хватило бы на всю жизнь в городе до самого конца. Я бы за неделю продал для тебя этот участок.

Джон вздохнул и откинулся на подушки кресла.

Заговорила Уилла.

— Если бы я была уверена, что ты заплачешь, Билл, я бы отколотила тебя палкой.

Джон зажег трубку и примял табак.

— Ты не сможешь уйти надолго, — сказал он мягко. — В один прекрасный день ты затоскуешь по дому и ничего не сможешь с собой сделать. Ты прирос к этому месту. Когда у тебя будут дети, ты поймешь, что они могут расти только здесь и больше нигде. Ты можешь уйти ненадолго, но там не останешься. Пока ты живешь в городе, Билл, мы будем ждать тебя здесь, подбеливать дом, подстригать сад, вот и все. Ты вернешься. Твои дети будут играть у водонапорной башни. Мы подождем. Мой отец умер, мечтая о детях. — Он застенчиво улыбнулся. — Я чуть было не забыл об этом.

— Ох, как бы я его избила, — пробормотала Уилла.

Билл смущенно вышел из комнаты.

— Он вернется, — еще раз повторил Джон.

— Конечно, — угрюмо согласилась жена.

Джон вздернул голову и подозрительно на нее покосился.

— Ты ведь и правда так думаешь, Уилла? Ты не говоришь мне это просто так? А то я почувствую

себя стариком.

— Конечно, правда. Что же я, по-твоему, болтаю что попало?

В конце лета Билл женился и сразу переехал в Монтерей, в свой новый, оштукатуренный дом. Осенью на Джона вновь напало беспокойство, точно такое же, как перед рождением Билла. Он заново побелил дом, хотя в этом не было особой нужды. Он то и дело немилосердно стриг кусты в саду.

— Урожаи маловаты, — говорил он Берту Мэнро. — Запустил я участок. Я мог бы собирать куда больше.

— Это верно, — согласился Берт. — Все могли бы собирать больше. Я всегда удивлялся, почему ты не заведешь овец. Мне кажется, твои холмы прокормили бы целую отару.

— При отце у нас была отара. Ох, и давно это было. Но я же говорю, я запустил участок. Кустарник очень разросся.

— А ты его выжги, — посоветовал Берт. — Если осенью ты сожжешь кустарник, к весне у тебя будет отличное пастбище.

— Недурная идея. Но кусты доходят чуть не до самого дома. Мне понадобится много помощников.

— Ну что ж, я помогу тебе, и Джимми захвачу. У тебя двое работников, да ты сам, получается пятеро. Если мы начнем с утра, в безветренную погоду, да еще после небольшого дождика, никакой опасности не будет.

Осень наступила рано. В октябре растущие по берегам ручьев ивы пламенели желто-красной листвой. Высоко-высоко, почти невидные глазу, летели на юг большие стаи уток, а на задних дворах прирученные кряквы хлопали крыльями, вытягивали шеи и жалобно кричали. Черные дрозды кружили над полями, следуя за вожаком. В воздухе уже чувствовался легкий морозец. Джона Уайтсайда тревожила наступающая зима. Он с утра до вечера работал в саду, помогал подстригать деревья.

Проснувшись однажды ночью, он услышал шепот дождика на крыше, негромкие всплески в саду.

— Ты не спишь, Уилла? — спросил он тихо.

— Нет, конечно.

— Первый дождь. Мне хотелось, чтобы ты его услышала.

— Я слышу его с самого начала, — гордо ответила сна. — Ты пропустил самое лучшее — бурю. Ты храпел.

— Да, но он ненадолго. Первый дождик смоет пыль, и все тут.

Утром взошло солнце, и напоенный влагой воздух весь заискрился в его лучах. Солнечный свет был ослепителен, как хрусталь. Не успели они окончить завтрак, как Берт Мэнро и его сын Джимми протопали по заднему крыльцу и ввалились в кухню.

— Привет, миссис Уайтсайд! Привет, Джон! Я подумал, что сейчас самое время подпалить этот кустарник. Нынче ночью прошел славный дождик.

— А что, недурная мысль. Садись, выпей кофе.

— Мы только что позавтракали, Джон. Сыт по горло.

— А ты, Джимми? Налить тебе чашечку?

— Сыт по горло, — ответил Джимми.

— Ну что ж, тогда начнем, пока трава не подсохла.

Рядом с кухонной дверью была наклонная дверца, ведущая в подвальное помещение. Джон спустился туда и через минуту вернулся с бидоном керосина. Когда из сада пришли двое работников, Джон роздал всем мужчинам мокрые рогожные мешки.

— Ветра нет, — сказал Берт. — Сейчас самое

время. Начинай прямо отсюда, Джон! Мы будем держаться между огнем и домом до тех пор, пока не выжжем широкую полосу. Рисковать не стоит.

Джон воткнул политый керосином факел в густые заросли кустарника и прочертил вдоль их края огненную полосу. Кустарник яростно затрещал и защелкал. Пламя побежало по земле, подхватывая смолистые стебли. Двигаясь вслед за огнем, мужчины медленно поднимались по крутому склону невысокого холма.

— Хватит, пожалуй! — крикнул Берт. — Я бы начал уже поджигать с верхнего края.

Берт и Джимми зашагали вверх, огибая заросли кустарника. В эту минуту налетел осенний ветерок. Закрутив сухие листья, вихрь заплясал вниз по склону, извиваясь и кренясь в разные стороны, словно маленький смерч.

Вот он игриво метнулся к огню, подхватил рой искр и тлеющих угольков и швырнул их в сторону дома. И тут же сник, словно наскучила ему эта игра. Берт и Джимми уже бежали назад. Все пятеро принялись осматривать землю и затаптывать каждую искорку.

— Хорошо, что вовремя заметили, — сказал Джон. — От такого пустяка весь дом мог сгореть.

Берт и Джимми снова обогнули кустарник и подожгли его с верхнего конца. Джон и оба работника двигались вверх по склону, держась между огнем и домом. Воздух стал густым и плотным от дыма. Через четверть часа был выжжен почти весь кустарник. Внезапно откуда-то со стороны дома донесся пронзительный крик. Дом был еле виден из-за дыма. Пятеро мужчин все разом повернули и кинулись бежать. Когда дым поредел, они увидели, что из верхнего окна валят густые серые клубы.

Навстречу им по выжженной земле неслась обезумевшая Уилла. Джон, поравнявшись с ней, остановился.

— Я услышала шум в подвале, — крикнула она. — Открыла дверь, что ведет в подвал из кухни, и... Теперь весь дом в огне.

К ним подскочили Берт и Джимми.

— Шланги у водокачки есть? — закричал Берт.

Джон с трудом оторвал взгляд от горящего дома.

— Не знаю, — с сомнением ответил он.

Берт взял его за руку.

— Скорее! Чего ты стоишь? Можно еще кое-что спасти. Хоть часть мебели вынесем.

Джон высвободил руку и поплелся вниз по

склону. — По-моему, уже ничего не надо спасать, — сказал он. — Ты с ума сошел! — заорал Берт.

Он кинулся к водонапорной башне и стал метаться там в поисках шлангов.

Из окон вовсю рвался дым и огонь. Из середины здания доносился шум ожесточенной битвы: старый дом сражался за свою жизнь.

К Джону подошел работник.

— Если бы хоть то окно было закрыто, можно было бы попробовать, — проговорил он виновато. — Уж больно он сухой, этот дом. Тяга прямо как в печке.

Джон подошел к поленнице и сел на козлы для пилки дров. Уилла заглянула ему в лицо и застыла с ним рядом. Теперь уже дымились внешние стены, и дом ревел словно буря.

И тут случилось нечто удивительное и очень жестокое. Боковая стена упала, словно кулиса, и они увидели в двенадцати футах над землей совершенно не тронутую огнем гостиную. На их глазах по комнате полоснули огненные языки. Кожаные кресла дрожали и съеживались от жары, как живые. Лопались стекла на картинах, гравюры превращались в обуглившиеся лохмотья. Им видна была висевшая над камином

большая черная пенковая трубка. Затем пламя закрыло собой квадрат комнаты, и все исчезло. Тяжелая шиферная крыша рухнула, дробя своей тяжестью пол и стены, и весь дом превратился в бесформенный исполинский костер.

Вернулся Берт и беспомощно остановился рядом с Джоном.

— Это, наверно, от того вихря, — сказал он. — Какая-нибудь искорка, наверно, залетела в подвал и попала в каменноугольный деготь. Да, сэр, это, наверно, от дегтя.

Джон взглянул на него и улыбнулся испуганно и в то же время с иронией.

— Да, наверное, от дегтя, — повторил он.

Теперь, когда победа осталась за огнем, дом горел спокойно, пламя все разрасталось, и весь этот пылающий массив высоко вздымался в воздух. На дом это было уже совсем не похоже. Джон Уайтсайд встал с козел, расправил плечи и вздохнул.

На секунду его взгляд задержался на какой-то точке огня, в пятнадцати футах над землей, там, где раньше была гостиная.

— Ну, вот и конец, — сказал он. — Думаю, я теперь знаю, что чувствует душа, когда тело закапывают в землю. Пойдем к тебе, Берт. Я хочу

позвонить Биллу. Может быть, у него найдется комната для нас.

— А почему бы вам не пожить у нас? У нас места хватит.

— Нет, мы поедем к Биллу.

Джон еще раз окинул взглядом пылающую грудь. Уилла потянулась, чтобы взять его за руку, но отдернула ее, не коснувшись его. Джон заметил ее движение и улыбнулся ей.

— Жаль, что мне не удалось спасти мою трубку, — сказал он.

Тут Берт заговорил быстро и возбужденно.

— Да, сэр, в жизни я не видел такой трубки. Есть трубки в музеях, но и те не такого цвета. Эту трубку, должно быть, долго обкуривали.

— Это верно, — согласился Джон. — Очень долго. И знаешь, она и на вкус была хороша.

XII

В два часа дня от стоянки в Монтерее отъехал туристический автобус. Он отправлялся в широко разрекламированное турне, именуемое Семнадцатимильным. Туристы глазели из окон на роскошные дома богачей. Туристы таращились сквозь пыльные стекла и чувствовали себя довольно неловко. Они казались себе соглядатаями, правда, привилегированными, но все-таки соглядатаями. Автобус медленно проехал через город Кармел и пополз по склону холма к коричневому зданию миссии Кармело, увенчанному полукруглым куполом. Шофер, молодой парень, отвел автобус на обочину и уселся поудобнее. Пассажиров тем временем повели на экскурсию в темную старинную церковь.

За время экскурсии кое-кто успел перезнакомиться, и лед, как говорится, был сломан.

— Слышали? — сказал один из туристов, на вид человек состоятельный. — Гид говорит, эта церковь построена как корабль, настоящий корабль с каменным килем и корпусом, глубоко погруженными в землю. Это на случай землетря-

сений… Представляете, как корабль в бурю, да? Только все это без толку.

Сидевший позади молодой священник с гладким розовым лицом, очень гордый своей новенькой саржевой сутаной, ответил:

— Ну, не сказал бы. Ведь землетрясения тут бывали, и не раз, а миссия до сих пор стоит, а ведь она построена из простой глины.

Тут в разговор вмешался кряжистый, с беспокойными глазами старик.

— Любопытные вещи творятся на свете, — сказал он. — У меня в прошлом году умерла жена. Мы с ней пятьдесят лет прожили. — Он огляделся, смущенно улыбаясь и, видимо, ожидая, что кто-нибудь поддержит разговор. Он совсем забыл про любопытные вещи, о которых собирался рассказать своим спутникам.

Молодожены, совершающие свадебное путешествие, сидели, обнявшись. Молодая очень смущалась, но наконец, преодолев застенчивость, пробормотала:

— Интересно, куда мы сейчас поедем?

Автобус медленно двигался по долине Кармел — мимо садов, где росли артишоки, мимо отвесных красных скал, испещренных зелеными прожилками ползучих растений. День клонился

к вечеру, и солнце опускалось туда, где за линией горизонта лежало море. Сначала дорога шла вдоль реки Кармел, потом свернула в сторону и стала взбираться по склону холма, а дальше пошла по узкому гребню хребта. Здесь автобус резко сбавил скорость и съехал с дороги, раза четыре дернулся взад-вперед, после чего, наконец, развернулся и затормозил. Шофер заглушил мотор и обратился к пассажирам.

— Вот досюда мы вас довозим, а дальше можете, если желаете, прогуляться пешком. Мне хотелось бы немного передохнуть перед обратной дорогой. Так что прошу…

Пассажиры стали выбираться из автобуса, разминали затекшие от долгого сидения ноги. Многие поднялись на вершину хребта, откуда открывался вид на Райские Пастбища. Лучи заходящего солнца наполняли воздух золотистой дымкой. Перед ними лежала долина, расчерченная на зеленые квадратики садов, на желтые квадратики полей, где зрела пшеница, и темно-лиловые квадратики свежевспаханной земли. Крепкие, добротные фермерские дома утопали в садах. Дым очагов тянулся к небу и плыл в воздухе пока его не уносил горный ветер. В долине паслись коровы и было слышно, как позвякивали

их колокольчики. Где-то далеко лаяла собака, и ее лай казался не громче шепота. У подножия отвесного склона сбилась в кучу небольшая отара овец.

— Это место называется Лас Пастурас дель Сиело, а по-нашему — Райские Пастбища, — сказал шофер. — Овощи тут хорошо растут, фрукты, виноград... Вообще все поспевает раньше, чем везде.

Пассажиры пристально смотрели вниз, на долину, лежащую у их ног.

Один из пассажиров, судя по виду, преуспевающий бизнесмен, вдруг заговорил, и в его голосе зазвучало нечто пророческое.

— Вот что я вам скажу, и сдается мне, я прав: в один прекрасный день в этой долине понастроят больших каменных домов, разобьют парки, площадки для гольфа и поставят вокруг железную ограду с большими воротами. Богатые люди — вот кто будет здесь жить. Люди, которые устали от работы, устали от города, люди, которые нажили состояние и ищут тихую заводь, чтобы отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Были бы у меня деньги, я бы сам все это скупил. Придержал бы эту землю, разбил на участки. — Он помолчал, потом сделал рукой такой жест, будто

все сгребает в одну кучу. — И, клянусь богом, я и сам бы тут жил.

Жена сказала ему: «Ш-ш!» Он огляделся и увидел, что его никто не слушает.

Фиолетовая тень горы доходила уже до середины долины. Где-то внизу взвизгнула свинья. Молодой человек, смотревший на долину, поднял глаза и с улыбкой посмотрел на свою жену. В его улыбке было признание вины, и жена, словно угадав его мысли, укоризненно улыбнулась ему в ответ. Его улыбка говорила: «Я замечтался. Правда, это было бы славно… но я ведь не могу, ты знаешь».

А ее улыбка ответила: «Конечно, не можешь. Тебе надо думать о карьере. От тебя так много ждут. Тебе надо сделать себе имя, и я буду гордиться тобой. Как можно сбежать от ответственности и спрятаться здесь. Но все-таки как это было бы славно…» Их лица смягчились, и в глазах задержалась улыбка.

Молодой священник медленно брел по склону. Губы его шептали молитву, но он давно привык шептать молитвы и думать о чем-то совсем другом. «Там внизу, наверно, есть церквушка, — думал он. — Там нет нищеты, забот, грязи и вони. Прихожане признавались бы мне в маленьких

простительных грешках. И я бы отпускал эти грешки после того, как они пару раз прочтут “Аве, Мария”. Там покой; там нет места злобе. Там я не совершил бы ничего, достойного стыда или сожаления. Там я никогда не впал бы в сомнение. Люди, живущие в этих домиках, полюбили бы меня. Они бы называли меня “отец”, и я был бы справедлив с ними». Он нахмурился и прервал сам себя: «Нет, я все-таки плохой священник. Бедняки, бьющиеся в тенетах нищеты, трущобы, грязь, вонь — все это для меня наказание. Нельзя бежать от трагедий Господа Бога». И он подумал: «Может быть, я и попаду сюда после смерти».

Старик жадно вглядывался в долину своими беспокойными глазами, и его слабеющий слух улавливал тишину словно легкие порывы ветра, шелестящего в кронах деревьев. Дальние горы казались ему окутанными дымкой, но он ясно видел золотистые пятна света и темно-фиолетовые тени. Его дыхание стало прерывистым, и в глазах стояли слезы. Он беспомощно взмахнул руками. «У меня никогда не было времени, чтобы просто подумать. Вечно в заботах, вечно в суете, а подумать как следует некогда. Если бы я хоть немного тут пожил, я бы… Я бы поразмыслил как следует над своей жизнью и, может, понял

бы что-нибудь. Может быть, все это обрело бы какой-то смысл. А то живу, и жизнь все тянется, тянется, а что толку? А там бы меня ничего не отвлекало. Я мог бы спокойно подумать».

Шофер автобуса бросил сигарету на дорогу и раздавил ее каблуком. «Эй, собирайтесь, — крикнул он. — Пора ехать». Он помог пассажирам забраться в автобус и закрыл двери, а они приникли к окнам и все глядели вниз, на Райские Пастбища, на тихую, лежащую среди гор долину, похожую на синее озеро, на фермерские домики, погруженные в это озеро тишины.

— А знаете, — сказал шофер, — я всегда думал: неплохо было бы купить там, внизу, дом. Завел бы корову, свиней. Собаку бы завел, а то и двух. Сад, огород… Прокормиться на ферме всегда можно. — Он нажал на стартер, мотор заревел, но он заглушил его. — Вы, наверно, скажете, вот чудак, но я каждый раз гляжу туда, вниз, и думаю, как же все-таки здорово там живется.

Он рывком переключил передачу, и автобус, набирая скорость, помчался под уклон по направлению к долине Кармел. Он мчался навстречу солнцу, которое садилось в океан где-то за горизонтом.